

ПРОЗА

АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ



СЛЁТКИ

РОМАН

Слёток, слёточек и слётыш — молодая птица, уже слетевшая с гнезда... Одна птица слётчивее другой бывает, раньше гнездо покидает.

Владимир Даль

Часть первая

ХМУРОЕ ДЕТСТВО

1

И так бывает.

Не материнское лицо он запомнил первым в жизни своей, а братово. Может, оттого, что Бориска, из любопытства, наверное, то и дело к нему в младенческий кулек заглядывал? Смотрел на крохотного Глебку, и тот, если, к примеру, ревел, хандрил, ежился от малых своих и первых неудобий, сразу, будто суслик в поле, замирал, даже и глазенками шевельнуть не желал — моргнуть там или скособочиться, а глядел на человеческое существо

ЛИХАНОВ Альберт Анатольевич родился в 1935 году в г. Кирове. Окончил Уральский государственный университет им. Горького. Автор многих книг. Лауреат государственной премии России, премии Ленинского комсомола, международных премий им. Я. Корчака, М. Горького, многих других отечественных и зарубежных наград. Удостоен премии Президента РФ в области образования. Председатель Российского детского фонда, президент Международной ассоциации детских фондов. Академик Российской академии образования. Живёт в Москве

старшего возраста с удивительной радостью, с доверием и непонятной готовностью внимать и радостно подчиняться.

Хотя чему он мог подчиняться, младенец-то?

Бориска тоже испытывал странное, до сих пор с ним небывалое. Интерес? Нет, это ощущение было посложней всякого любопытства, оно и обреталось где-то в глубине — разве же не забавно разглядывать это толстое пузико, крохотные ручки, которые, напоминая бутоны маленького, нераспустившегося пиона, заканчиваются сжатыми кулачками. А кривоватые ножонки с нежной, из шелка сшитой кожей крохотных ступней? А озорной петушок, всегда неожиданно, даже по-хулигански, пускающий напористые, спешащие фонтанчики? А ушки, розовые на просвет, наверное, еще безо всяких хрящиков, Божьи крендельки, слепленные волшебным мановением, чтобы внимать голосам взрослых, воробьеву чириканью за форточкой, опасному гулу толстой, случайно залетевшей мухи?

Но еще и чмоканию большого создания, склонившегося над кульком в старенькой кровати, — а чего чмокать-то? — хмыканью, странным звукам человеческой речи, пока что не имеющей содержания, но уже доносящей смысл. А смысл этот — приветливость, доброта, желательство хорошего.

Улыбчивое большое существо заглядывает на Глебку, чмокает зачем-то — впрочем, это ведь и есть смысл, заменяющий пока что содержание, потому что достаточно и одобряющего чмокания, чтобы передать этому будто бы несмышленому существу, этой новой капельке жизни привет из мира любящих людей, из взрослого, пока что еще невидимого, не предполагаемого, непонятного человеческого океана.

Капельке? Ха, неразумные взрослые! Да эта капелька еще в мамином животике слушала музыку ее тихих песен. Еще там научилась улыбаться. Но и огорчаться, если огорчалась мама, — а разве же она не огорчалась? Эта капелька, конечно, зависит от всех и от всего — от пищи, вкусной или дурной, от сквозняков, инфекций всяких, если налетят микробы на малое существо по вине ли взрослых, или же без их всякой вины, — в общем, зависит от всего и всех, и борони-то Бог капельку такую от немладенческих страстей, когда остается это зависимое творение в забвении, врожденной боли, покинутости, в чем всегда виновны взрослые.

Ну, а ежели все слава Богу, и дитя явлено к любви и заботе, то ведь и от него все окружающее зависимо! Заплакала капелька, уж и не улыбается старший брат: что случилось, как помочь? Заболела она, пусть младенческой, простенькой болезнью — все вокруг толкуются, а если и некому шибко толкаться, все равно изо всех сил помогают и в полную душу тревожатся — среди взрослых и старший брат, сам-то еще дитё. Как же, капелька ведь наша хворает, и зачем ей эти тягости, когда лучше бы улыбалась да таранилась во все стороны, вслушиваясь в звуки, привыкая к миру, куда и явлена-то — для радостей и для бед.

Первые взрослые руки, которые помнит всякий человек, — руки матери, если они есть. Первые глаза, которые устремлены на него, — ее глаза, рассматривающие не привередливо, а любовно, с великой осторожностью даже взора самого, будто бы и робкого, и деликатного, и осторожного разом, боящегося нанести ущерб, — хотя какой ущерб дитяти от любящего материнского взгляда? Но так уж устроена природа, Божий мир и благодать земная — ведь дитя-то выношено матерью! В утробе ее, самой чистой надземной печи взошло это тесто, и выпекся колобок человеческий, хлебушек, кормящий собою неиссякаемое, пока что, человечество...

И никто не может, не смеет оспорить права материнского первенства на ее единственное, самоличное и самое счастливое прикосновение к плоду своему, да и хлебушек этот, розоватый этот каравайчик ей первой по принадлежности и дается.

Но вот — и это уж человекья натура — тут же по сторонам таранился. Мол, ты, матушка, первой всего, и это дело ясное, а что окрест-то обретается?

Вот потому, пожалуй, и помнил Глебка первым в жизни своей не матушкин облик, а брата своего Бориска, старшего аж на целых девять годков.

Девять лет — это вам не хухры-мухры! В девять лет свободный человек мужеского рода уж много чего познал — и хорошего, и дурного, много чему поупражнялся и немало набил ссадин да синяков, как свойства внешнего, так и внутреннего. По новым свободолобивым российским временам Боря Горев к поре, как мама поднесла ему братишку, не только наполучал в школе колов и двоек, перекрытых, впрочем, тройками, а то аж и четвериками, не только обучился самостоятельно разрешать с разнохарактерным учительством свои личные ученические трудности, чтобы никакие огорчения не выбирались за школьный порог и не достигали мамкиного знания, но и прошел первый мальчишеский ликбез: выпил полную бутылку пива, так шустро рекомендуемого народу в мерцающем окне бесстыжего “ящика”, тайком потягивал сигаретки, одалживаясь, правда, у старших пацанов, любивших подначить младших, испытать их на взрослость, взять на понт. Однако ни разу еще не купил ни единой пачки на свои, то есть на мамкины деньги. Даже водочки он уже клокнул, и не где-нибудь, а дома, когда мать и бабушка отсутствовали, что случалось очень даже редко, — так вот, исследуя мир, познавая себя в этом мире, он отвинтил пробку початой бутылки, налил себе полрюмки, ахнул разом, ожегся, побежал к крану и из него закусил сырой водицей щенячью свою отвагу познания. Посидел, вернувшись в комнату, перед распахнутой тетрадкой — голова затуманилась, закружилась, он пошел к кровати, забрался на нее и тут же уснул, а очнувшись, ощутил пакость во рту и неприятную головную боль. Во, зар-раза!

Умел к тем годам он уже и драться. И не то чтобы вражда какая, или азарт, или норов дурной его к тому подвигали, а, можно сказать, простое географическое положение. Домик их деревянный, одноэтажный, с палисадничком, где росли золотые пушистые шары летом, сооружение вполне деревенское, по правде-то сказать и было самым деревенским, а просто невелик городок, коптивший по соседству, постепенно разрастаясь, постепенно же и проглотил бывшую деревеньку с домом, где жили Горевы, а школа, где учился Бориска, располагалась в старой городской черте. Деревенские, ходившие на учебу в город, были когда-то людьми второго сорта; еще в далекие, отсюда уже не видные времена деревенских поколачивали городские, и эта традиция, продравшись через революции, войны, победы и обратно же всякие контрреволюции, поразительно сохранилась, забыв первоначальные причины и следствия, но сохранив в генах подрастающих новых сопливых поколений эту дурацкую привычку — вдруг остановить ученика с дальней улицы и надавать ему по первое число без всяких объяснений. Что, понятное дело, зывало к ответным действиям.

Вот так и жили дети окраины захолустного, закоптелого, хорошенько подзапущенного городка: обучаясь помаленьку пить пиво, пробовать водку, получая двойки, превращаемые к концу учебного года — не без помощи самого же учительства — в обоюдобезопасные тройки, поколачивая друг дружку, без всякого, впрочем, зла и осатанения, достигая, наконец, радостного возраста расставания со школой и с домом, которое одних одаривало крылами — и, растопырив их, молодняк улетал в дальние края. Другие так никуда и не убирались, привязанные к дому теми самыми безопасными слабенькими троечками, никому не нужными аттестатами без пристойных знаний, да еще помноженными на доступное пиво и водочку, всегда находящуюся в любом ближнем магазине. Да плюс к этому невнятное, смурное состояние пьющих мамань да папань, да хроническое отсутствие денег, да еле живой, опустевший, жалкий заводик, когда-то опоры всего городка, — этот завод особенно осаживал нерадивых: если, мол, даже у нас тут все невпопад и неладно, дак кому мы нужны в далекой, неведомой стороне?

Городишко бедствовал, помалу спивался, несмотря на отсутствие зарплат — видать, за счет старух-пенсионерок, старики-то на улицах встречались все реже, вымирали послушными рядами. Нигде в городе уж давно очередей не было — ни за пивом, ни за водкой, ни за копченой колбасой, и только в одном месте она, эта очередь, никак не кончалась.

Очередь эта единственная, правда, не на весь день, а по утрам, до обеда, собиралась в городском морге на территории местной больнички — бывшей при проклятом царизме барской конюшней. Но как же жаловал барин коней своих, если одноэтажное сооружение с толстенными стенами, будучи переустроенным в заведение для нездоровых людей, покрашенное, правда, неоднократно, но капитально так ни разу и не отремонтированное, спокойно выдержало семьдесят лет советской власти, да и еще готово, несмотря на крайнюю свою обшарпанность, выстоять невесть сколько и при наступившем “капитализме”.

Так вот, при нищей больничке, где кони когда-то уступили место людям, было отдельное, такое же нищее и убогое заведение, метров на пятьдесят отстоящее, без окон, предназначенное в прошлом, наверное, для хранения хомутов да сбруй, а потом преобразованное в морг.

Там по утрам каждоденно собирался люд, чаще всего потрепанный, немолодой: правда, детей да и внуков своих они всё же приводили — и перед квадратным этим бесхитростным сооружением, в мороз ли, в дождь ли, в ярую ли летнюю духоту, слева и справа от всегда распахнутой двери, приставленные к опаршивелым стенам, выставлялись крышки гробов. Были они синие, фиолетовые, с крестами из серебряной, а то и вовсе золотой фольги, наклеенными на цветную материю, а иной раз красные, безо всяких крестов — крышки эти последние не всегда означали мировоззрение покойных, скорее уж мировоззрение хоронивших их родственников. Да и не в том дело. А в очереди.

В зданьице том несчастном, видевшем немало слез, теперь отпевали православных, и это занимало время, а и тут же устраивали гражданские, без священников, панихиды, на что тоже уходило времени совсем не меньше. Так что одни покойники невозмутимо ждали, когда освободится место для прощания с ними, а пришедшие проститься живые молча терпели, когда выкликнут знакомое имя.

Тут же толпились полупьяные оркестранты из двух местных похоронных оркестриков. Опечаленные провожающие частенько бывали свидетелями, когда — нет, не конкурирующие, а почти родственно связанные трубачи, тромбонисты, и как их еще там, переходили вдруг из одной команды в другую просто потому, что то один, то другой из этих мужичков, уронив свой музыкальный струмент оземь и привалясь к неллицевой стороне морга, закатывал глаза и задавал, не смущаясь особенности места, такого храпака со вчерашнего устатку и утreshнего опохмелия, что звук этот вполне заглушал негромкие голоса, доносившиеся из нутра печального пристанища.

3

Познавая мир, Бориска отчего-то особенно любил старый тенистый парк с толстенными размашистыми липами — наверняка до семнадцатого года рождения, увенчанными великим множеством грачиных гнезд.

По весне птицы орали во весь голос, возвращаясь с юга, ремонтировали свои дома, подавая людям бесполезный пример для подражания, демонстрируя силу и радость жизни, потом притихали, высиживая птенцов и самим этим фактом опять же укоряя людей; птенцов выкармливали, налётывая сотни вёрст в окрестные поля — за червем, гусеницей и всем прочим, что не противно малышовому птичьему вкусу, и далее — ставя детей на крыло, давая им опыт птичьего лёта.

Особенно любил Борис наблюдать за судьбами слёток, маленьких грачишек, не вполне еще оперившихся, но сумевших спланировать с высокого гнезда, да не способных еще подняться обратно и потому оказавшихся беззащитными на земле.

О! Слётки — это целый мир, полный страстей, трагедий, но и великих радостей...

Их охраняли родители. Дежурили по очереди, и если, к примеру, отец улетал за червями, чтобы накормить неслуха, — а от этого зависела его жизнь (надеясь, птенец скорей оперялся, укреплял свою подъемную силу),

то мать ходила рядом, черным оком проглядывая пространство: вверх — нет ли ястреба или злостного воронья, готового растерзать дитя, и по сторонам — не крадется ли хищница-кошка или блудливая непутевая собачонка, которая есть добычу не станет, но поглумиться и погубить малыша способна.

Отгоняя врагов, подтаскивая пропитание, грачи все же добывались желаемого, и нетерпеливые их чада через день-другой, а то и вовсе через считанные часы вдруг, яростно хлопая короткими крылышками, взлетали — пусть не на самый верх, не в безопасное гнездо, а всего лишь на нижнюю ветку, где их уже не достанет хотя бы собачье-кошачья опричнина. А там и до вершины недалеко!

Так вот, Бориска бегал в старший парк, вовсе не обращая внимания на тяжелое уханье похоронного барабана и пуки тяжелой трубы, гонял кошек и собак, если те направляли свои стопы к слёткам, помогая взрослым птицам огрადить, оберечь малое беззащитное птичье детство.

4

Деревянный домик матери Бориса и Глеба, Ольги Матвеевны, стоял по самой середине деревни Горевы, все почти жители которой носили общую фамилию — Горевы. Дед Матвей умер до рождения Бориса, про Глебку и говорить нечего — это дитя уж совсем нового времени.

Из материнских рассказов выходило, что бабушка Макаровна, которую по имени Елена звали редко даже знакомые и соседи, а вослед за ними и самые близкие родственники, даже внуки, жила с дедом дружно, а потому как он был работник справный, крестьянин лошадный, то и появился у них этот дом. Потом Макаровна держала пару коров, поросят, ясное дело, курей и гусей, но лукавый город все это, можно сказать, постепенно украл и сожрал, потому что напознал на деревню, затоптал ее, затопил пятиэтажными сероблочными хрущевками, матом, пьянью, пустыми банками да бутылками не только на улочках, но и в окрестных полях, постепенно превращаемых в лужайки. А живность, особенно такая серьезная, как корова, состязания с цивилизацией не выдержала и из хозяйства пропала. Отказались и от поросят, но еще раньше исчезли гуси и куры, потому как на асфальтовой, пусть и плохо укатанной, с промоинами и лужами во всю ширину, улице жить им стало невмоготу.

Не шибко заметно, но твердо деревенское семейство превращалось в городское. По утрам бабка Макаровна теперь не коров доила, а шла до ближнего магазина, размещенного в трехкомнатной квартирешке недалёкой хрущобы, и волокла в дом пару пакетов растворенного местным молзаводом заокеанского молочного порошка, чертыхаясь поначалу, но с годами привыкая к тому, что подает не природа, а власть.

Ей, Макаровне, казалось, что жизнь, ее окружающая, как-то очень уж сильно выцвела. Оставаясь в одиночестве, она изредка разглядывала себя в зеркало и с удивлением, замешенным на тоске, убеждалась, что глаза ее собственные тоже выцвели. Когда-то ярко-васильковые (за что, видать, и была приголублена немногословным, статным и работающим Матвейюшкой), теперь в помутневшем от времени старом, на свадьбу подаренном комодном зеркале отражались зрачки, будто вырезанные со старых блеклых обоев. Васильковый цвет обратился в серо-беловатый, а слезящийся взор, как она ни старалась, не превращался в былое сияние.

Это уж так от Бога устроено: печаль женская — это допрежь всего печаль материнская. И хоть дочь Макаровны Ольга, ее единственная кровинушка, ни разу ее не обидела, ни разу в сторону не качнулась, никуда обочь не глядела и с первого своего мгновения на белом свете обрелась в скромном родительском доме — об ней только и болело материнское сердце, потому как Ольга оказалась страдальцей, никак не выладилась у нее вся последующая жизнь.

Когда она росла и училась, город уже напознал на деревушку Горевы, и хоть старики не знали, как к этому относиться и каково им придется в городе жить, молодые глупо радовались, что больше они не деревенские, что

даже само название печальное — Горевое стирается с карты района, а сами они становятся жителями хоть и затрапезного, грязного, убогого, но все-таки города. А название-то какое: Краснополянск!

Ну и требовалось найти себя, в городе-то. Оля нашлась. Пошла на курсы массажисток, потом пристроилась на работу в военный санаторий, на другом краю Краснополянска, тоже в бывшей деревне, где сохранилось каменное двухэтажное здание каких-то старых купцов; там отдыхали то боевые соколы, то танкисты с артиллеристами, никогда, правда, не воевавшие.

— Жисть, она и есть жисть! — вздыхала Макаровна, стараясь лишь согнуться, но не сломаться под тяготами этой “жисти”. Да и чего ломаться, ежели ничего поделать нельзя... Слаб человек, чтобы против жисти бунтовать.

И все-таки не здесь таилась материна тоска.

Оля выросла вполне ничего себе. Росточку, правда, невеликого, но все при ней — и грудка, и гузка, и характер покладистый, без сбоев, и нрав покойный. Работящая же отменно! Весь дом на ней, и с малых лет — только готовка бабкина, да и та с годами отходила к Оле.

Без стонов, без причитаний, без модного в других семьях нытья о тяжелой бабской доле, о скудном заработке и отсутствии надежд, волокла Оля дом, и мать ждала, что приведет доченька мужа; вот тогда “жисть” и направится. Но она только понесла...

Всякие попытки материны пробиться сквозь стену молчания, сложенную Ольгой, оказались бесполезными. Даже слез дочериных она не дождалась — та все молчит да улыбается. Ни кто отец, ни как это случилось, ни почему Ольга даже не попыталась связать чадо своё с именем мужчины, ставшего отцом Бориски, — ничего этого мать не узнала. В метрику сына — ведь полагается же вписывать отцово имя! — она и вписала отца своего собственного — Матвея Макаровича. Получился Борис Матвеевич Горев.

Когда мать недоуменно возвращала дочери внукову метрику, та со смехом перекрестилась:

— Прости, батюшка родный!

Ох, и сколько дум перекачала в себе Макаровна по этому поводу. И что Олюшка влюбилась в случайного лихача, а тот ее бросил. И что был этот, может, летун, а пусть даже из бронетанковых войск, люб ей, но женатый однако ж. И что вовсе снасильничали ее, от безделья своего и разврата, эти майоры да капитаны мирных времен. И даже такое приходило в голову: сама дочка и набедокурила — попросила какого ни то приезжего красавца просто обрехотить ее, потому как местная пьянь — сплошные, почитай, выродки, и от здешнего мужичонки ничего путного родить нельзя, кроме такой же непутевой пьяни. Тогда ведь, если задуматься, то и молодец, доча-то! Теперь ведь какой мужик пошел? До полудня спит, до полуночи бродит, пьянствует да дерется. И если родится от такого какой-никакой приплод, то надежд на отца не только в каком-то там незнамом воспитании, но и в простом прокормлении чада — никаких! Всё баба, жена то есть! Как уж она управится, так оно и выйдет.

Так что, порой с недоумением думала Елена Макаровна, дочь её, может быть, и права, что сына своего родила по строгому и душевному, пусть тайному, выбору, и род их от такой женской самоотверженности только укрепится новой кровью, иной, может быть, даже очень высокой породой. Вон сколько в санатории-то видных красавцев, умниц, а грянь война, так, наверно, и героев!

А уж если принять в расчет, что сейчас не то что каждая вторая, а чуть ли уж и не всякая подряд семья непременно разводится, — то выходит, что Олюшка-то кругом права!

Не все ли едино, рожден ли ребенок в браке, который обязательно должен рассыпаться в самый что ни на есть прах, или явлен, этот самый нестойкий брак обойдя вовсе — без лишних криков родительских, слез и оскорблений, которые, дело тут ясное, ни в каком положительном значении действовать не могут, а только губят, сбивают с пути неокрепших духом отпрысков.

И понемногу успокаивалась Макаровна, утихала с годами, лелея внучонка-первенца.

Миновало целых девять лет, когда Ольга, совсем взрослая женщина, снова вдруг округлилась. И снова родила мальчишку, смеясь и ни в чем не признаваясь.

5

В родственных чувствах немало скрытых тайнств, неспроста ведь родня некоторая хуже стаи бродячих собак, только и грызутся между собой, и так бывает, что совсем посторонние люди зачастую благородней и снисходительней близких по крови. О братстве тоже немало различных суждений произнесло человечество, и среди них едва ли не самыми удивительными звучат слова: брат мой — враг мой. Действительно, чего только не бывает в людском мире, но немало же и верности, и памяти, и почтения к родным по крови, так что истинно: всякое, всякое есть посреди нас, грешных.

Но вот братство Бориски и Глеба, рожденных от разных отцов, но одной ведь матерью-то, ею, ее тихой любовью и скрытым от всех, но сильным желанием родить, видать, и детей ее одарило каким-то поразительным чувством взаимного влечения.

Пока Глебка был маленьким, Борис радостно таскал его на закорках, избражая лошадку, чем бесконечно радовал малыша. Он даже приспособил как-то бельевую веревку — сплел из нее что-то вроде простенького сиденьища и ходил с братом по городу, удобно усадив его за спиной — не зная даже намеком про восточную традицию, по которой женщины, да и мужчины по необходимости, носят малышей за спиной, исполняя тем еще и важную защитную функцию. Ведь прижатое к спине взрослого человека дитя согревается его теплом, и многие болезни минуют его потому, что впереди, защищая его от ветра, дождя, холода, движется надежное, теплое, родное тело. И Глебка отвечал на братову готовность быть его личной лошадкой всем существом своим: обнимал, как мог, Борискину спину нешироким малышковым объятьем, подпрыгивал в седёлке своем, будто справный казачина, и, не умея еще кричать, пищал в восторге, исполненный самого невинного счастья и преданной любви.

Это лошадку подгоняло, вело вперед. Она то рвалась бегом, то замедляла ход, и тем, и другим вызывая равно восторженный писк за спиной, который Бориску удивительно вдохновлял. Будто года смыкались, и он приближался искренней этой радостью к несмышленому своему братцу. Откатав Глеба по дому, огороду и ближним окрестностям, Боря в какой-то момент решил ознакомить наездника с пространствами дальними и понес его в старый парк.

Глебке уже стукнул годик, стало быть, Бориске десять. Он был увесистый, развитый, крепкий паренек, которому, на иной взгляд, не ребенка за спиной тащить было бы сподручнее, а прогуливаться, допустим, с девочкой или хотя бы гонять на велосипедах в мальчишечьей безоглядной стае, а то и, по нынешним временам, пивко посасывать, возлежа на солнцепеке.

А Бориска шел по улице, туманно улыбаясь, нес за спиной брата, и о чем-то они кратко перемалвливались, вполне довольные друг другом и отлично друг друга понимающие.

Борис, как молодой жеребчик, проскакал в парк и начал знакомить малыша с тамошними особенностями, показывая грачиные гнезда, может быть, даже объясняя, кто такие слётки и в чем трудности грачиного воспитания. Впрочем, пожалуй, он просто поворачивался и так, и сяк, понимая ограниченность братниного взгляда из-за собственной спины — обращал его внимание на древние липы, на густые кусты и скачущих в них птиц, на стоящие обочь приземистую больницу и морг — просто так, без всякого умысла, как на топографические объекты. И ничем это путешествие не было бы отмечено в их судьбах, кабы не группа ребят из Борькиной школы, которой со временем предстоит стать и школой Глеба.

В небольшой той группке, человек из шести-семи, были не только мальчишки, но и девочки, что определяло общую температуру их компании,

слегка подогретую все тем же вездесущим пивом: у кого прихваченная за горлышко меж пальцев, у кого зажатая всей ладонью полутотпитая темная бутылка. Компании такие почти всегда опасны — желанием каждого выкачаться друг перед другом, мальчишеским стремлением быть достойней и смелей других в девчоночьих глазах; девчоночьим, порой весьма глупым, желанием подначить пацанов, подтолкнуть их к тому, чтобы повыпендривались они перед ними просто так, без смысла и толку.

Все ребята в той компажке были постарше Бориски, всякому лет по тринадцать-четырнадцать, и они, конечно, хорошо знали Горева по школе.

В ином месте и в иной час, особенно каждый порознь, они бы, эти ребята, может, и улыбнулись двум братьям, скачущим по парку, но теперь они были кучкой, пусть немногочисленной, но единой даже и не во зле, а в желании поёрничать, поиздеваться, поизмываться над добром, захваченным врасплох.

Столкнулись они на узенькой тропке — дорожек-то прогулочных в парке не имелось, никак не разойтись: Бориска с Глебкой за спиной, молчаливо и понимающе притихшим, и рогочущая, малость хмельная и задиристая кучка старших.

— Ой, умора-то, умора! — визжала долговязая некрасивая девчонка, на которую, как хорошо знал Бориска, в школе парни внимания не обращали, а была она всегда частью толпы. И, наверное, оттого, словно бы всем в отместку, восполняла свою некрасивость липучей настырностью и громкоголосой хамоватостью. Вечно она норовила в первые ряды — и за партой, и на собраниях, и руку всегда первой тянет, и орет на переменках оглушительнее всех. А если кучка собирается — эта тут как тут.

Вот и сейчас заорала:

— Ой, умора, глядите, в штанах, а нянька! Эй, Горев, глотни-ка лучше пивка!

Да уж! Во всякой собачьей стае непременно есть шавка, которая лает громче всех, раньше всех бросается к объекту нападения, правда, потом дает другим псам обогнать себя, отстает, и гавкает уже чуть сыздали, блюдя личную безопасность. Такой же была и эта долговязая.

Из-за нее выскочили два или три паренька, протягивая Бориске свои бутылки, и ничего уж такого они обидного не крикнули, просто кривлялись, хохотали, повторяли вслед за долговязой:

— Нянька! Нянька!

Много разных чувств всколыхнулось в Бориске. Первое среди главных — беспокойство за Глебку, но оно первым же и отступило: нет, не могли эти ребята, хоть бы и напились они пьяным-пьяны, что-нибудь гадкое маленькому сделать; речь явно шла только о посрамлении Бориного достоинства, а это уж другая песня.

И вообще, неизвестный батяня наградил сына стойким, терпеливым характером и холодным расчетом. Боря и в других положениях сначала мучительно думал, отсекая возможные погрешности, перебирал варианты, а выбрав нужный, действовал споро и без оглядки на последствия.

Будто раздумывая, внешне даже лениво и неуверенно, он ссадил Глебку со своей спины, прислонил его к толстому стволу столетней липы, наказав несмышленишу, чтоб сидел и не шевелился (тот понял и нахмурил брови), а потом намотал на правый кулак бельевую веревку, из которой свил для брата наспинное сиденье.

Быстро подскочил к парню, ближе всего к нему стоявшему.

Тот все еще лыбился, глупец, не понимал, что за кривлянья и издевательства, пусть даже ему одному лишь из всей толпы, причитается оплата в довольно твердой валюте. Бориска схватил левой рукой бутылку, который ему протягивал этот парень, переступил с ноги на ногу, заняв удобное положение, и рукой, обмотанной бельевой веревкой, двинул кривляке в челюсть.

Парень был как минимум на голову выше Борьки, но послушно свалился безмолвным мешком, убедительно поразив своим падением остальных. А Борька не терял мгновений. Пока задиры ошалело осмысливали происшедшее, он подлетел к дереву, саданул по нему бутылкой, отбил дно, как все

они, нынешние дети, не раз видели в кино и, повернув к врагам горлышко с острыми зубьями, кинулся на толпу.

Девчонки завизжали, и громче всех Дылда, а парни кинулись врассыпную. Как толпились они впереди той некрасивой и длинной, когда наступали на Борьку, когда дразнили его и протягивали свои бутылки, так и сейчас мчались сломя голову, обгоняя ее, и тут уж горластой никто не мог помочь. Борис, не церемонясь, сбил ее с ног, занес над ней левую руку с острым своим оружием.

— Ну, что, визгивая, — спросил он как-то спокойно и совсем не по-детски, — будешь еще голосить?

И пивной дух, и природная крикливость куда-то враз делись, она не говорила, а шептала:

— Мальчик! Горев! Прости! Пожалуйста!

Бориске очень хотелось оставить ей какую-никакую память об этой ее несправедливой выходке — может, чиркнуть острием по тощей, цыплячьей какой-то груденке, даже и титек-то у ней не видно? Или, может, кофтенку разрезать? Но стало вдруг отчего-то жаль эту беспутную деваху — и кофтенка на ней не новая, бедная, да и джинсы какие-то уж шибко затертые, хоть это и модно, да тут, ясно что секонд-хэнд, ношеное да брошенное кем-то барахло...

— Что ж ты, дура, нарываешься? — спросил он уже без всякого азарта или злости, по-взрослому жалеючи, встал, даже руку протянул, почтобы помочь.

Но Дылда руки не приняла, вскочила, побежала, бутылку свою не бросила.

Когда отодвинулась на безопасное расстояние, к своим, жалко скупенным у кустов, крикнула оттуда:

— Гад! Ну, погоди! Ты еще получишь!

И отхлебнула пива, высоко задрал голову — утешаясь, видать.

Бориска размотал веревку, усадил в сиденье маленького Глеба и пошел домой. Глебка за спиной подпрыгивал и смеялся, глупышка. Праздновал победу по-своему, по-мальшовски. Не понимал, что такие дела просто не сходят.

6

Через пару дней Бориску отвалтузили. Довольно обидно — прямо возле школы. Обычные, ничем не отличимые от других семиклассники, человек десять, не меньше, вдруг оборотились в злобных собак. Побросав сумки, окружили Бориса и начали его лупцевать. Кто норовил заехать кулаком, а кто и ногой.

Он уворачивался как мог, одному-другому неслабо съездил в ответ, но сила солону ломит; его-таки сбили с ног. Вскочив, он резко кинулся вперед, прорвался сквозь окружение и рванул в сторону дома под оскорбительное улюлюкание и всякие унижающие слова. Это было самым обидным.

Дома Борис долго обливал лицо и всю голову холодной водой, морщась, утирался, потом сидел напротив Глебки. Что тут скажешь? Да и такому-то мальцу. Проговорил только:

— Мы это так не оставим! — И, меняя тон, усмехаясь, прибавил: — Сэр!

Зато маленький будто того и ждал. Засмеялся, закатился, будто и в самом деле уловил тонкую иронию и смысл высокого обращения. Ну и Бориска захохотал. А отсмеявшись, пошел на улицу. Глеб, конечно, братан, но малый, с ним не посоветуешься, а требовалось придумать что-то посерьезнее.

Борис не строил внятных планов, но подрастающих огольцов всегда ведет интуиция, а когда против тебя выступает целая куча противников, неписаное тайное знание подсказывает: надо объединяться. Но с кем?

В каждом малом селении, а то и на каждой улице небольших городов — про большие лучше смолчать, — живут и переливаются из поколения в поколение свои стайки, стаи или даже стаицы, меняясь с годами, то мельчая, а то расширяясь. Малый народ этих сообществ чередуется, пребывая в пол-

ной зависимости от жизни улицы, а значит, своей державы, от целей ее и высот, побед и поражений. Бывают времена, когда стайки эти злобны и слабы от голода и безделья, бессмысленны от бессмысленности взрослых, с которыми они обретаются по домам да квартирам. И злобность эта редко когда утихает сама по себе, всякий раз стараясь отыскать выход и назначить виноватых. Слабые поодиночке, злые дети, сбившись в стаи, становятся опасны, как свора бездомных собак.

Однако коренные горевские жители примерно Борискина возраста, пусть и было их немного, отличались отменным здоровьем и ловкостью. Может, молоко коров, давно уже отогнанных на мясокомбинат, но все же испитое в самые малые, нежные лета, тому причина, может, свежий воздух, все еще натягивающий по вечерам с удаляющихся от людей лесов и полей, — кто знает? Но одно неоспоримо: были они покрепче, посильнее, повыше, поплотнее не только своих городских сверстников, хилаков и слабаков. Жаль только, маловато было крепьшей этих...

Витек вот, Горев тоже, по прозвищу Головастик, данному за громадную просто, профессорскую какую-то башку, которой он, правда, задачки раскалывал с трудом, но если бил кого-то в живот широким лбом — валил с ног запросто. А потому даже Бориска, разговаривая с дружбаном Головастиком, по мере накала спора ли, простого ли какого расхождения, предпочитал от него отступать на шаг-другой, — не в целях личной безопасности, а просто так, на всякий случай.

Васек Горев, кровный и старший брат Витьки, странным образом на него не походил ни чуточки. Наверное, энергия, потраченная на создание Витькиной башки, в Ваське оказалась направленной в его непомерный рост: числясь семиклассником, по высоте своей он был не то что на выпускника похож, но и вообще на взрослого дядьку, только тощеват. Ясное дело, это не беда, и такой Васька к концу-то школы, если, конечно, выдержит сильное умственное напряжение, подотъется, наберет мясной массы, станет просто могучим мужиком, позабыв к той поре свою отроческую и внешне обидную кличку Аксель — сокращенно от иностранского слова акселерат, произнесенного кем-то из учителей-умников, потом переделанного в более понятное, правда, слегка техническое — акселератор, а потом уж и вовсе в Акселя, будто имя какое-то немецкое.

Еще одно семейство других Горевых — в самом конце бывшей деревенской, ныне городской улицы, грело и пестовало под крышей старинного пятистенка аж трех крепьшей, которых звали Петя, Федя и Ефим. Были они погодки, похоже, родители их, тетя Аня и дядя Паша, когда-то позволили себе отвязаться и не крепко задумались о том, как станут жить такой оравой. Пока парни были совсем малы, родители изнурялись, валились с ног от трудов тяжелых, но, не имея образования, связей, достойной работы, спасались одним лишь огородом да жалкой живностью. Потом тетя Аня пристроилась в кафе, поварихой, кажется, и не за счет денег, а, наверное, за счет продуктов с кухни зажили эти Горевы чуть лучше, а потом и совсем даже ничего.

Женщины-соседки замечают все всегда первыми, и пошел по бывшим деревенским деревянным домишкам слух, будто Петька, Федя и Ефим, достигши возраста частичной уголовной ответственности, за нее, уголовщину, и принялись. В местных газетках и по городскому радио стали сообщать, что завелись откуда-то бандиты, которые то подломят уличный киоск, а то и мелкий магазинчик, где не установлена сигнализация.

Потом стали сообщать, что грабанаули магазинчик и с сигнализацией, и охрана скоро прибыла на место происшествия, да никого не нашли. Решили на приезжих из большого города, который подымливал, пошумливал, поухивал в двадцати верстах от своего малого, никому не нужного, умирающего спутника. Но меткий женский глаз заметил, что Петя восьми лет, Федя — девяти лет и Ефим — десяти чего-то вдруг жуют недешевую жвачку и оплевали ею весь транзитный асфальт, и всю курят сигареты “Мальборо” в красных с белым коробках, а это не всякому взрослому-то по карману. И вообще сыто рыгают! “Откуда дровишки?” — напрашивался извечный

русский вопрос, непроницаемый, впрочем, вслух. Однако вполне несовершеннолетние Петя, Федя и Ефим наивно таращили свои невыразительные серые шарики, хлопали белесыми ресницами, ерошили свои белобрысые “бошки” и молчали.

А зачем говорить, если ни о чем не спрашивают?

7

Был, конечно, и еще народец в Горе, но те еще мелюзга, будущий, конечно, кадровый резерв, но это предстоящее из десяти-то с немногим лет проглядывает невнятно и туманно. В общем, слаба была в ту пору горевская детвора, и Бориска не велик шиш, в атаманы никакие не годился, скорей уж Витька Головастик да Васька Аксель могли на это претендовать, хотя бы и по возрасту — были они все-таки постарше, — но той порой и братаны-то гляделись еще мирными телятами, хотя и помыкивающими уже юношескими, с хрипотцой, голосами, сбиваясь с фальцета на баритон и крикая при том, да и охотно уже матерясь.

Подумавши, Бориска направил свои стопы к братанам Горевым. О приключениях последних дней рассказал прямодушно, не таясь. Братьев возмутило подлое коллективное нападение, а ведь и они в той же школе учились, вот, знай бы заранее, на троих-то, небось, рахнулись полезть, а если б еще прибавить Петю, Федю и Ефима...

Принялись соображать: шестеро против десяти, это как? Слабовато? Или в самый раз? Нет, ну, ясное дело, против шестерых не поперли бы, каждый Горев хоть куда, — а один на один все котомки отдадим, — но все же и преимущества никакого. Надо бы еще землячков — поболее или поуменьше.

Была осень, сидели они на бревнышках возле Витьки-Васькиного дома, крутили пальцами в собственных носках.

— Надо чему-то научиться такому, — сказал Бориска.

— Боксу, что ли? — спросил Головастик.

— А есть еще карате, — поддержал Аксель, — джиу-джитсу, еще что-то там такое, вон даже президенты не брезгают, а мы чё?

— Президенты президентами, — протянул Бориска. — Они люди ученые, образованные, им можно на ковриках, на этих самых татами. А мы...

— Ну и что?

— А вот что: раз — и в нос, и с копыт долой, понимаешь? В нос, и с копыт! Дважды два.

— Значит, бокс? — догадался Аксель.

— Бокс, — кивнул Бориска. И все вздохнули. Никакого бокса в их городке и в помине не было...

Расходились с бревнышек тяжеловато. Навстречу попалась троица: Петя, Федя и Ефим. Обрадовались, встретив однофамильцев, разглядев Бориску, предложили притырить из дому пивка. Витька с Васьком согласились, но Борис уперся — не хотелось ему этого проклятого пива, хотя забьтсья, просто от всего отключиться он бы и не возражал.

А от угощенья все же ушел. Дома его ждал Глебка. Прибежал и прижался всем своим хлипким тельцем, будто к отцу.

Вот тут Бориска всхлипнул. Он и сам не знал, как можно к отцу прижаться, припасть, потому что не знал отца, но вдруг к нему, еще мальчишке, припадает младший братик, и в нем совсем неожиданно вздрагивает, просыпаясь, какое-то новое, совсем не детское чувство. Не только любви к Глебке, не одно только желание прижать братика к себе и обнять, но и еще что-то посерьезней, повзрослей. Какой-то такой груз привалил на плечи. Это была внезапная, тяжелая о Глебке печаль — как он вырастет, кто его защитит, каким станет?

Как просыпается отцовское чувство? Вот уж истинно серьезный вопрос, на него и ответишь-то не сразу.

Но спросим попроще: не есть ли чувство братства, чувство любви мальчика постарше к младшему, одной крови, человеку, желание его защитить

от бед и злых сил — предчувствие своего отцовства, пролог к будущей взрослости и страха за другую жизнь?

Пожалуй, да.

И Бориска всхлипнул от небывалой новизны чувства, которое нахлынуло на него, как нежданная высокая и теплая волна. И две маленькие слезинки выкатились из его глаз.

Слезы были легкие, светлые, даже, может быть, радостными их можно назвать. Со слезами мальчишечьими выходила горечь поражения, незнания, что делать и как быть дальше, а их место — место скупых, почти мужичьих слез — занимала теплая и добрая радость за этого малыша, беззащитную эту и наивную маленькую жизнь.

Боря чувствовал, как вливается в него с любовью еще и сила, но это вовсе не физическая была сила-то, а уверенность, успокоение, обретение твердого знания, что делать, если его братишке нанесут обиду.

8

Бориска не сразу понял, что мать и бабушка с удивлением и даже вроде как с непониманием взглядываются в ласку и тепло братских отношений. Он это почувствовал. Но постепенно, догадками, предположением.

Мама и бабка как-то стали затихать, когда Бориска входил в дом, а Глебка, едва научась ходить, неся ему навстречу. Но даже ушибов на торопливом пути к брату Глебка не замечал, боль пропускал мимо — так захватывала его всепоглощающая радость.

Борис становился на коленки, чуточку отводил в сторону лицо, чтобы Глебка не стукнулся головой о его подбородок, а мог беспрепятственно припасть к братовой груди, широко распахивал объятия и с улыбкой, чаще молчаливой, прижимал его к себе.

Вот это-то молчанье мальчика, уже одиннадцати лет от роду, больше всего и поражало родных женщин. Что-то было в нём не по летам взрослое, неправдоподобное, чего-то таинственно обещающее. Но чего?

Мама и бабушка примолкали, глядели на встречи братьев украдкой, иногда и слезы смахивали, но никак рассуждать об этом себе не позволяли, как и хвалить братьев. Боялись сглазить?

Взрослые женщины оберегали братишек, не вмешивались в их привязанность, и в этом заключалась нежданная мудрость: детские чувства ничуть не слабее взрослых, и если их не подхваливать, не корректировать, не оценивать, они сами разовьются и укрепятся во что-то важное и сильное, способное пройти самые трудные испытания.

Глебка набегал на Бориску, они обнимались, это была традиция, почти церемония, любимая обоими, и сколько бы раз, даже неподалеку, во двор или огород ни выходил Бориска, переступив порог избы, он падал на колени перед маленьким братцем, и тот неся ему навстречу, даже, бывало, прямо с горшка соскочив, и бухался в молчаливые объятия.

При этом малыш обладал какой-то пронзительной интуицией.

Когда Борис уходил в школу, младший брат относился к этому как важной необходимости и провожал старшего, помахивая ладошкой. Или же, помня уроки бабушки, ладошку свою целовал, а потом дул на нее изо всех сил — чтобы воздушный поцелуй сопровождал старшего брата на труды незримые.

Таким же манером он провожал его и на какие-то деловые отлучки. К тем же братьям Горевым на бревнышки, где молодые бойцы могли держать совет. Однако, если в намерения Бориса входил свободный полет, пусть даже с промежуточной посадкой на тех же бревнышках для пары глотков пива, притараненных из неведомых закровов Петей, Федей и Ефимом, Глебка или начинал строго сверкать очами, подозревая Борю в отступлении от братства, или без всякой причины начинал подвывать, сначала весьма сдержанно, что означало мягкое предупреждение. А если Борис молча глядел в сторону, отводил взор, то завывать мог наподобие пожарной сирены. Старший все это уже знал, заведомо чуял и глаз чаще всего не отводил, сознавая, что,

похоже, надо делиться с младшими не только хлебом, водой, но еще и свободой.

Итак, всё чаще они рассказывались на этих бревнышках, смешной семерик: Глебка непременно в серёдке, как бесспорный центр мироздания, рядом Борис, а вокруг, уже без всякого расчета и всякий раз по-разному (три плюс два или два плюс три) — братья Горевы из разных однофамильных семей, возможно, все дальние родственники, что, в общем-то, сей момент никого не беспокоило: в детстве дружба важнее родства.

Они болтали о всякой разности, попивали пиво, притом Глебка, бывало, тянулся неразумной ручкой к бутылке, что вызывало легкий, вполне понимающий смех братства. Потом кто-то из трех погодков спускался в домашние погреба, откуда малышу доставлялась или кола или банка фанты, а то и просто газвода. Складывалась весьма забавная картина: у всех семерых, включая крошечного Глебку, в руке по бутылке, а лица серьезные, сосредоточенные.

Посидев на бревнышках, семерик отправлялся на прогулку — просто так, от нечего делать. Чаще всего они шли единственной дорогой бывшей деревни на самый край города. Асфальт кончался, начинался глинистый проселок с неглубокими, долго не высыхающими лужами. К краю своему бывшее Горевое словно редело, выдыхалось, между деревянными старыми домишками шли прогалы — кто-то съехал, а дом разобрали, а то и просто сожгли, и улица напоминала щербатый, с выпавшими зубами рот то ли старика, то ли ребенка.

Самый последний дом в этом ряду был совсем мал, походил на игрушечный, от силы четыре на четыре метра, да еще и со стеклянной верандой в том же метраже, а рядом сарай, где жила последняя в Гореве корова с человеческим именем Машка. У Машки была, понятно, хозяйка, владелица игрушечного домика по отчеству Яковлевна, имя ее, похоже, все забыли.

С Яковлевной Бориска был хорошо знаком, по поручению мамы или бабушки он часто прибегал сюда за настоящим, а не магазинным молоком для Глебки, и старушку серьезно уважал по причине, не им, а взрослыми объявленной. Была она не просто последней хозяйкой последней коровы, по крайней мере, в бывшем Гореве, а и на всем этом конце города. Её упорное сопротивление городскому наступлению все признавали особенным, осознанным и, значит, идейным. Хотя старуха ни с какими флагами не ходила, лозунгов не выкидывала и интервью не давала по той простой причине, что ее мнение никого, кроме горевских, не интересовало, но уж они-то передавали слова Яковлевны из уст в уста и из дома в дом. А старуха всего-навсего и говорила-то:

— Я как этого растворённого казённого молока попью, так и помру.

Смерть ее никого сильно не волновала, давно уж ей срок пришёл, но она все жила и жила, забыв счёт своим годам, и одно приговаривала:

— Казённое молоко хуже смерти.

Есть такие слова и темы, которые у понимающих людей смеха не вызывают. У непонимающих — да, но горевские к ним не относились. Да и носила Яковлевна общую всем фамилию — Горева. А жила совсем одинёшенька, и уже никто вокруг не помнил, была ли у нее какая родня...

Вредно, однако, так заживаться.

Селение с этого краю оканчивалось березовой рощицей, и сквозь редкие столбики светлых, как свечи, дерев, привязанная к одному из них, всегда паслась Машка — корова как корова, замечательная, однако, тем, что была она, как сказано, последней в деревне и даже на целой городской окраине, но кормила исправно своим молоком хозяйку Яковлевну да редких совсем горевских младенцев.

Увидев Яковлевну, ребятня недружно, но вежливо здоровалась с ней, и та улыбалась, кивая, очеривая почти беззубый рот. А проходя мимо Машки, мальчики всякий раз поворачивали головы к ней и тем, хоть и не равняясь в строю, все же отдавали честь добродушной знакомой животине.

Березовая рощица перебежала дорогу, окружала со всех сторон, но ненадолго, потом обрывалась, и за ней сразу начиналось поле, разрезанное извилистым рвом, по дну которого текла меленькая, по колено, речка с необыкновенным названием Сладёна.

Дорога сползала в ров и на другом берегу речки этой взмывала вверх, довольно круто, так что не всякая машина могла тут проскочить, и потому путь этот считался тупиковым. Горевский семерик полагал, что обладает неким правом собственности на кусок речушки от дальней излучины слева до столь же дальней излучины справа. Вот там пусть лезут в воду все кому не лень, а здесь право первости, и не просто так, но по наследству, принадлежит им.

Всякие нарушения своего права на кусок речки остро переживали не только ребята, но и вся бывшая деревня, но поделаться с этим ничего не могла. Время от времени, хотя и нечасто, по дороге мимо состарившихся деревянных домишек, разбрызгивая лужи, проносились кавалькады из двух-трех, а то и четырех автомобилей со включенной на всю мощь музыкой, и из-за рощицы чуть не до глубокой ночи доносился ор и пьяные крики взбесившихся пришлецов. Вместо того чтобы, по здравому разумению, утихнуть, услышать тишину и птиц, они продолжали орать, прыгать под яростные звуки оглушительной музыки, крушить орешник на берегу речки, ломать деревья, жечь костры — одни для шашлыков и кебабов, а другие просто для дыма, чтобы отогнать комарье, и после этого сущего погрома не день и не два приходила в себя речка и ров, по которому она протекала, и берега, до того цветшие и ромашкой, и васильком, и чебрецом, после нашествия вытоптаны были до простой бедной грязи.

Бориска, бывало, и в одиночку, а чаще с братками и Глебкой за спиной, сторожко подходил к краю речки после таких чуждых наездов. И хотя они не разговаривали между собой о человеческом паскудстве вообще и о природе в частности, души их бунтовали и страдали. Тихая, не объяснимая словами ненависть поднималась откуда-то снизу. И хотя ни у кого нет прав на эту общую речку, — дело ясное, несмотря на все их детские фантазии, — чувство они испытывали такое, будто кто-то чужой без спросу вошел в их дома с грязными ногами и все истоптал, испакостил, оставив им непроизнесенный вопрос: зачем, почему? По какому праву?

В тот день, еще разогретый для Бориски недавней стычкой в парке и совсем свежей возлешкольной расправой, не утихшими желанием отомстить обидчикам и душевной смутой незнания, как это осуществить, они неожиданно застали там того высокого парня, которого еще в парке уронил, ударив в подбородок, Борис.

Странно, но парень был один, сидел на берегу, опустив голову, а когда поднял ее, увидел целый семерик и в центре его Бориску все с тем же малышом за спиной, и в глазах его мелькнул ужас.

Но только мелькнул. Он отвернул лицо, снова опустил голову. Сидел же неловко, как-то сжавшись, положив руки на длинные колени, а на руки — голову.

Бориска клокотал. Все в нем перемешалось — и хорошее, и дурное. Из хорошего, хотя и не вполне справедливого — уязвленное чувство собственности на этот отрезок речки, куда лезут всякие там... А из плохого — чувство безнаказанности: ведь что бы ни сделал Боря этому длинному сейчас, все в его воле и праве...

Однако вот что было самым нечестным: в парке он врезал длинному как следует, но не помнил его среди тех, кто валтузил его возле школы. О какой такой мести можно думать... Но ссадив Глебку, передав его на руки Акселю, Борис подошел к парню. Тот все так же, будто и забыв об угрозе, подступившей к нему, молча сидел на краю рва, положив на руки голову.

Борису послышалось, будто парень плачет, да и плечи его мелко вздрагивали. Мельком подумалось, что лучше бы остановиться, но на него смотрели пятеро. А Глебка сверкала своими восторженными глазенками, которые всегда ожидают чуда.

Он подошел к парню со спины и, слегка разогнавшись, толкнул его. Тот коротко вскрикнул и кубарем полетел вниз. Сначала стукнулся о берег, потом плюхнулся в воду.

Горевский народ восторженно заорал, заметался по берегу, норовя добавить, если не кулаком, то словом, но Бориска рукой остановил мстителей.

А парень в джинсовом костюме стоял по колено в воде, тряся, плакал уже не таясь, и вдруг крикнул, обращаясь к Бориске:

— Фашист!

А потом всем крикнул:

— Фашисты!

Народ от неожиданного ругательства обомлел. Парень, хватаясь руками за землю, соскальзывая и срываясь, выбрался на крутой берег, отбежал в сторону и, оборотясь, крикнул изо всех сил:

— Что вы за люди!

Он бежал к роще, к городу и громко, навзрыд уже, никого не сторожась, плакал, а троица свистела ему вслед. Глебка радостно прыгал на руках у Васьки Акселерата. А Головастик вдруг сказал:

— Это Глебов из восьмого. У него вчера и отец, и мать накрылись.

Бориска обмер:

— Как это?

— А так... Ехали на “Жигулях”, пьяный шоферюга самосвалом сбил и раздавил...

Борьку будто в поддых кто-то ударил. Ноги ослабли, стали просто ватными. Он опустился на колени, свесил голову, спросил, едва слышно:

— Что же ты... Раньше-то...

10

Каждый из нас, пусть порой и нечаянно, совершает несправедливые поступки. Одни рано или поздно стираются, исчезают вовсе. Но другие неотвязно скребут память, нежданно напоминают о себе и, смыкаясь с другими событиями жизни, вдруг оказываются чем-то вроде греховных отметин, за которые однажды — так или иначе — неминуемо приходит расплата...

Вырастая, становясь старше, а потом приняв на себя неизбежные тяжкие испытания, Борис то и дело возвращался к детскому своему греху, когда толкнул с обрыва такого же, как он сам, бедолагу.

Бориска сразу приготовился к этому: понести наказание. Пусть бы снова налетела на него толпа, пинала по бокам и в спину, целила в лицо — он бы и не пикнул, и жалиться никому бы не стал — виноват, получи!

Но никто его не трогал, никто даже слова не произнес, и оттого душе было очень больно, будто кто-то снова и снова скарябывал коросту. Не мог он простить себе подлость, пускай нечаянную. Пытался себя представить на месте Глебова. Ну, отца у него, предположим, не было и нет, но исчезни вдруг разом мать и бабушка... Жутко даже вообразить!

Сердце сжималось, весь он обмирал, покрывался холодной испариной: да это же конец жизни, конец всему. Куда он с Глебкой денется? Кому нужен? Как сумеет жить дальше?

Будто страшную явь какую, отмахивал он руками это наваждение. Вскликивал, бежал куда-нибудь в сторону, если не на уроке сидел. Старался обратно в жизнь включиться, потому что такие вот мысли были ведь из жизни-то выпадением. Какой-то обволакивающей хмарью, ужасом...

А Глебов в школе больше не появлялся. Все от того же Головастика Бориска узнал подробности, рвавшие душу в клочья: погибших родителей похоронили, а Глебова увезла дальняя родня, куда — неизвестно.

— Может, сбегят в детдом, — нахмурился Витька.

— Почему? — спросил Бориска. — Родня-то есть...

— Вроде есть. Да кому он теперь нужен. Разве только квартира его...

Спорить дальше на такую взрослую тему никто не решился, еще пока не по летам оказалось, но Боря совсем скуксился, и Головастик его понял, точно так же, как и Акселерат.

— Ладно тебе, не переживай! — хлопнул по плечу Витька. — Ведь ты же не знал!

— Все мы дураки, — обобщил Васька.

Тем собеседованием все будто и завершилось.

II

Жизнь двинулась дальше, ни шатко, ни валко, а все же еще одним сотрясением закончилось лето.

В каникулы Бориска обретался дома, с бабушкой и малышом. Лагеря старых времен, когда-то окружавшие Краснополянск, или растащили на стройматериалы местные дачники, а кое-что и прямо на дрова, или, напротив, застроили двухэтажными коттеджами, расквადрили заборами один другого выше, распродав предварительно ранешнюю пионерскую землю, на сотки, пока не шибко драгоценные, как при столицах и больших городах, но все же и не дешевые уже, нараставшие ценой год от года. Взрослые поговаривали, что и главный, в двадцати верстах, город не просто заглядывается на земельные краснополянские возможности, но и уже делает первые финансовые вложения.

Словом, толковали всякое, и довольно охотно, лишь изредка вспоминая, что всё это ребятам принадлежало когда-то да организациям, обязанным об этой ребятне хлопотать и заботиться. А теперь уж ничего из того доброго и почти совсем бесплатного, чего и вообразить нельзя, не осталось в помине.

Не для них лес рядом, и речка, и лагеря бывшие — едва не в каждой роще. Детям оставался ныне один только двор, хорошо еще, если не общественный, да дороги — асфальтированные или мощеные. И превеликое множество ларьков, киосков, магазинчиков, которые, как в каком-то диковатом и уж вовсе не русском городе, заняли все площади, все первые этажи, подъезды, подворотни — только и знают, что увлекают всякой ерундой — от китайских дрековых тряпок, обуви, магнитофонов до все заполонившего пива. Пей, молодец, жри, одевайся, тырся в телевизор и ни об чем не думай: рай, да и только...

Так что перед Бориской, выходящим со двора, было только два пути — или в город, залепленный грошовыми магазинными вывесками, будто больной цветными пластырями, или от города — к речке, к березовой рощице, за которой начиналось другое поле, а там и новая, незнакомая, но чудная своим светом, высотой непорочно белых березовых стволов и шелестом листвы роща.

И вот в самой ближней роще, где паслась корова Яковлевны Машка, снова настигло Бориску что-то...

Как будто известие о чем-то неведомом.

Еще накануне, возвращаясь к вечеру из пробежки по дальним полям, ясное дело, с Глебкой за спиной, Борис услышал частое и тревожное мыканье Машки. Он, однако, значения коровьим возгласам не придал, мало ли чего не бывает.

Но утром, когда они еще завтракали, мыкающий коровий голос послышался снова — в открытую форточку. Бабушка, расставляя тарелки с пшенной да вареные яички, заметила тоже:

— Видишь, чего-то неладно, с Машкой-то. Ты уж погляди, Боря. Да и молоко кончилось, загляни к Яковлевне.

Выйдя из дому, Бориска сразу легкой рысцой отправился в рощицу поглядеть на корову. Та мыкала часто, хрипло и горько как-то, а потом вдруг затихла. Боря подумал, что Машка, привязанная к березе, может быть, запуталась своей веревкой, и хотя корова сыбла животиной умной и покладистой, мало ли в какие грехи впадает всякая сущая тварь. Борис был готов взять ее за большие рога, обвести не спеша вокруг дерева, распутать петли. Он уже представлял себе, как сделает это, и вдруг встал, как вкопанный.

На полянке, среди берез, стояла Машка. Вымя ее походило на переполненный до отказа, на странный и страшный мешок — никогда такого вымени Борька у коров не видел. И сиськи торчали в разные стороны, торчком.

Их, похоже, распирало молоко, которого, видимо, накопилось в корове сверх всякой меры.

Борька споткнулся и застыл от изумления. Уткнувшись в вымя, под Машкой стояла на задних лапах лохматая и рыжая беспородная собачонка и, торопясь, облизывала разбухшие коровьи соски.

Рядом суетились еще две такие же беспризорные дворняжки. Они радовались дармовой еде, но не обучила их нищая, беспутная жизнь сосать коров прямо из вымени, и они толклись возле других сосцов, становясь на задние лапы, а балансируя, опирались лапами на вымя, видать, доставляли беспокойство Машке, а то и оскребали ее пусть тупыми, но все же костяными ногтями.

Машке, наверное, было больно, но она терпела, потому что боль от молока, которое распирало ее вымя, была еще сильнее. Вот отчего она мычала! Но ведь еще с вечера! Со вчерашнего дня! И теперь ей, выходит, стало легче, раз эти три жалких собачонки лизут ее, точно чужепородные телята.

— Ну, Яковлевна! — возмутился Бориска и кинулся к игрушечному домику, предварительно шуганув шавок.

Торопливо уговаривая Глебку не волноваться, терпеть и все запоминать, Бориска подбежал к хлипкому заборчику, проник сквозь такую же хлипкую заднюю калитку, вбежал в дом и крикнул:

— Хозяюшка! Яковлевна! Яковлевна!

Отворил дверь и, ничего дурного не ожидая, подбежал к старушке. Она спала, сложив ладошки на животе, и словно совсем забыла о своей работающей корове.

— Яковлевна! — еще раз крикнул Борька. — Ваша Машка не доена и ревет!

Тревога была обоснованна, голос громок и уверен, глухой проснется, но Яковлевна, видать, снотворное приняла, что ли? Такое бывает на старости лет, Бориска слыхивал.

Он подскочил совсем близко и схватил ее за руки, но тут же дернулся.

И вдруг понял: старуха была не живая. Померла. А Машка, хоть про свою беду мычала во весь голос, и про Яковлевну трубила. Но никто ее не услышал. А если и услышал, так не понял.

Бориска стремглав кинулся домой. Бабушка заахала, побежала по горевским, но мужчины, да и женщины рабочего возраста дома отсутствовали, одни старухи дряхлые.

Главное ведь обиходить покойницу, думал Борис. Бабушка и объяснила ему, к кому именно он должен сбегать, призвать к Яковлевне, а сама почти бегом побежала к Машке.

Борис бабушкины наставления исполнил бегом, старухи из домов выходили на край деревни без проволочек, почти тотчас, а он застал бабушку возле Машки.

Корова стояла смиренно, помахивала хвостом, по-своему радуясь, что наконец-то услышана и благодарствуя бабушку, которая освобождала ее от молока.

А бабушка тихо причитала и плакала, не утирая слез, — руки-то заняты. В ведро вместе с молоком струилась коровья кровь.

Надоив полведра розоватого молока, бабушка слила его на землю и снова принялась доить. И тогда, указав пальцем на маячивших в отдалении бездомных собачонок, Бориска рассказал ей, как они лизали вымя.

Бабушка стояла на коленях над ведром, а когда Борис рассказал про собак, доить перестала, всплеснула руками и прошептала:

— Да что же это! Неужто свету конец? Собаки корову лизут! Никогда не слыхивала!

Потом Яковлевну отпели в морге и похоронили. А через день пришла скотовозка с мясокомбината.

Машка упиралась, не шла по крутому взъему в расхлябанную автофуру. Дело было к вечеру, и собрался народ.

Все смотрели на Машкин отъезд тоскливо: мужики набычась, женщины со слезами. Когда мясокомбинатские умельцы принялись корову хвостать

вожжами, которые, видать, им часто пригождались в их грязной работе, мужики молча отодвинули их и окружили корову. Похлопывая по бокам, приговаривая ласковые слова, подвинули ее к машине.

Машка обернулась к людям, глянула на них недоуменным, жалостным глазом, взмыкнула, не то укоряя, не то прощаясь, и вдруг сама резко и прямо вступила на подъем, прядая ушами и взмахивая хвостом.

Скотовозка взвизгнула, фыркнула горьким выхлопом в лица горевских жителей и скоро пропала за поворотом.

Поразило, кольнуло Борьку: на проводы Машки, живой еще пока, народу пришло куда больше, чем на прощание с покойной ее хозяйкой...

12

Быстро отмахало время, и хотя Глебка уже изготовился в первый класс, главной фигурой его жизни, теперь уже вполне осознанно, был по-прежнему старший брат.

А Борис вымахал, превратился в широкоплечего крепыша. Конечно, ростом до Васьки Акселерата он все равно не дотягивал, но ведь тот и постарше был, так что перспектива оставалась за Борисом, а он получался шире и выглядел основательней.

Однажды за ужином, ни к кому не обращаясь в частности — ни к бабушке, ни к сыновьям, мама поведала о санаторных новостях, которые, похоже, и ее удивляли. А дело заключалось в том, что появился у них откуда-то новый заместитель начальника санатория по хозяйственной части, южный человек, по званию майор, а по имени-фамилии Хаджанов Махмут Гареевич. Правда, был у его настоящего имени русский перевод: Михаил Гордеевич, видать, для удобства здешнего уха.

И вот Михаил Гордеевич этот все в санатории перевернул. Достал в Москве деньги и завернул основательный ремонт, но санаторий закрыт не был. Поступило новое медицинское оборудование, о котором раньше и не слыхивали. Уже привезли силовые снаряды, как в кино показывают, и будет тренажерный зал. Для этого делают пристрой, совершенно новое здание, которое со старым соединит стеклянный переход на бетонных ножках.

Внизу — тяжелые тренажеры, наверху — физиотерапия и массажисты. Но и это еще не все.

За санаторским забором майор делает тир! Да, да! Вообще-то он когда-то там и существовал, построили его в стародавние послевоенные годы, но, как известно, все течет, все изменяется. ДОСААФ, который там хозяйничал, накрылся медным тазом, замены хозяину не нашлось, и в тир городская власть навалила всякое барахло — метлы, ведра, запасы соли и даже мешки песку для гололедицы. Совсем пропало старое сооружение, и так-то приземистое, неказистое, на отшибе, всеми, в общем, забытое.

А вот шустрому Гордеичу оно попало в поле его деятельного зрения. Хотел было выкупить у властей, те уж и обрадовались — но передумал и выход-то какой выдумал! Восстановил в городке эту умершую организацию, РОСТО, кажется, теперь называется, сам ее каким-то макарон возглавил и себе же поручил тир починить, раздобыв для этой цели казенных денег.

Мама аж выдохнула. Рассказ ей дался непросто — не каждый день попадались такие хитросплетения жизни, ведь дело-то у нее самой — простое и ясное.

Этим рассказом Бориска заинтересовался и даже весьма. Через пару дней вместе с Глебкой, которого теперь он, понятное дело, не носил уже на себе, а водил за руку, по-прежнему никого не стесняясь, явился на работу к маме, умышленно ее не предупредив.

Санаторские вахтеры, люди местные, детей сотрудников знали, Бориса и Глеба пропустили без затруднений, тем более что дело было уже после обеда, к концу рабочего дня.

Массажное отделение представляло собой несколько узеньких комнатусек, устроенных в ряд и переделанных из большого когда-то барского зала. Стены, их разделявшие, до потолка не доходили, так что разговоры, которы-

ми обменивались пациенты и массажистки, были слышимы всем, часто превращаясь в публичные обсуждения разных разностей.

Едва войдя в массажное отделение, Бориска и Глебушка с ходу услышали мамин голос. Она похохатывала, говорила громко, совсем не так, как дома, и Бориса это неприятно зацепило. В оправдание ее он тут же подумал, что разговор тут идет вроде как для всех, потому и говорить приходится громко.

Сначала кто-то четким мужским голосом произнес:

— Да, насквозь пуля прошла, сквозь легкое, хорошо хоть под правую лопатку, а то бы конец!

— А где это было-то? — воскликнула мама.

— Да в Чечне!

— В каких войсках служили-то, Михаил Гордеевич? — спросил молодой голос из другой кабинки.

— Десантник я, из Псковской дивизии.

— О, знаменитая Псковская! — откликнулся еще кто-то.

— Гвардейская, Краснознаменная, прославленная! В ту еще, большую войну, отличалась, и сейчас — надежда армии!

— По ранению комиссовали? — спросила мама.

— Еле уговорил! — отвечал тот, кого называли Михаилом Гордеевичем. — Командование-то меня изо всех сил держало. Понимаете, нужны в войсках наставники, всякие там замкомполка, зенээши, замы начштабов и вообще старье, которое уже хлебнуло лиха! Раненые вот, например! Понимаешь, — повысил он голос, обращаясь, видно, к мужской части этого застенного собрания, — мы, старики то есть, нужны как пример, как наглядное пособие: что с вами, молодыми, может быть.

— И будет! — совсем не радостно добавил молодой голос.

— Ой, что вы, Михаил Гордеевич, — громко и даже игриво воскликнула мама, — да таких мужчин, как вы! С таким сложением! Еще поискать! А рана вас, извините, только украшает.

— Но шкура ценнее, Ольга Матвеевна, когда она не дырявая! — возразил бодрый Михаил Гордеевич.

— Ха-ха-ха, — залилась мама, — это уж не мне судить!

Сеанс закончился, стукнула дверца, и перед ребятами возник невысокий мужчина, вполне еще молодой, черноволосый, чернобровый, с черными же, щеточкой, усами. А главное, он был в камуфляжной форме — настоящий боец. На куртке едва видны майорские погоны. И еще он был поразительно белозубый. Улыбка эта, белоснежная и открытая, сразу располагала, и каждое слово, вылетавшее из этих уст, казалось, тотчас склоняло к согласию.

— Это что ещё за бойцы? — воскликнул он, радостно улыбаясь и внимательно оглядывая братьев. Бориска смутился, молчал, и его опередил Глебка.

— Мы братья Горевы! — крикнул он громко, почти отчаянно, и мужчина засмеялся, а тут и мама подоспела:

— Это мои сыны!

— О-о! — воскликнул он. — Понятно! Майор Хаджанов! К вашим услугам, господа юнкера! Не хотите ли потренироваться?

Он всерьез, без снисхождения, как равным, крепко пожал руку и Борису, и Глебке, кивнул на выход, махнул рукой их матери, попросил не беспокоиться и, ступая в шаг с ребятами, принялся на ходу рассказывать про перемены в санатории.

Сначала Борис не понял, зачем их ведут куда-то на стройку — всюду носилки из-под раствора, какие-то ведра, лестницы, деревянные козлы, хотя рабочих уже не было видно. Потом они вошли в широкий коридор, и майор включил свет.

Вдоль стен стояли новенькие, сверкающие черной кожей тренажеры, укутанные пластиком.

Хаджанов небрежно освободил от упаковки один из них, сел в кресло и взялся обеими руками за вертикальные штыри, торчавшие по бокам. С напряжением, но все-таки легко, свел их друг с другом. Круглые грузы, под-

вешенные к металлическим тросам, нехотя поднялись вверх, а когда майор отпустил рукояти, громко звякнули за спиной.

— Попробуй! — сказал он Борису. — Тренировка рук, укрепление пресса!

Боря, смущаясь, устроился на его месте, взялся за рукояти, напрягся изо всех сил, но — они не стронулись с места. Он даже вспотел от стыда. Какой слабак, оказывается! Но майор и не улыбнулся даже.

— Постой-ка, — сказал он, присел на корточки и снял плоские круглые грузы сначала с одной стороны, потом с другой.

— Давай!

Бориска напрягся снова. С трудом, с напряжением он свел перед собой эти черные оглобли. Отпустил. Сзади брякнуло. Свел еще. Получилось! Он уже улыбался, был счастлив, а Глебка требовал предоставить место ему.

— Погоди! — сказал, добродушно улыбаясь, Хаджанов. — Не торопись! Бегай и прыгай пока! Придет и твое время. А сейчас время Бориса, понимаешь, брат!

Глебка согласно кивнул. Он ведь уже и ревануть, было, собрался, но с ним никто еще так серьезно и понятно не говорил. Никакой мужчина, хоть бы и заваливающий какой, никудышний.

Подумать только: белозубый крепыш, офицер, майор, присел перед ним на корточки и без всяких церемоний говорил почти как с равным, будто заранее рассчитывал не на детские пузыри восторга, но на здравый смысл настоящего мужчины. Как тут было не восхититься и не принять протянутую сильную, мужскую руку?

Эх, безотцовщина...

13

Про Бориску же и говорить нечего. Никак не мог он высвободиться от майорского гипноза.

Во-первых, впечатляла в майоре какая-то мужская собранность, определенность: офицерская куртка с распахнутым воротом, а там — треугольник тельняшки. Во-вторых, поведение: не то чтобы напористость, а твердость, уверенность. И прямота — вот, пожалуй, самое точное. Ничего особенного Хаджанов не сказал и не сделал, но то, что он уже и сказал, было принято до последнего звука и, будто неумолкающее эхо, все звучало, повторяясь, все дрожало в ушах Бориски.

Сказать по правде, объяснялось это очень просто. Ведь никогда возле мальчишек не было отца. Все разговоры — только с бабушкой и мамой. И все дела решаются с ними, и разные короткие замечания тоже от них. Рассуждения их — конечно же, справедливы, разумны, но они — женские. Не такие, как у этого майора.

С мамой и бабушкой всегда есть какое-то пространство для обсуждений, рассуждений или хотя бы молчаливого, про себя, спора. А тут какая-то странная, очень резкая, но зато и понятная прямота. Не приказ, не давление, — разве эта встреча, такая добродушная и открытая, могла бы заподозреться хоть в каком-нибудь давлении? Но напряжение, внутренняя натянутость, непонятно откуда всплывающее требование подтянуться, сжаться, быть четким и ответно ясным — это чувство оказалось совершенно новым, мужским и неожиданно приятным.

Когда, уже простившись с Хаджановым, ребята вместе с мамой вышли в глубокой задумчивости из проходной санатория, сзади раздались быстрые шаги. Не оборачиваясь, они посторонились, продолжая идти. Их догнал майор. Он остановился, совершенно не запыхавшийся, и сказал, обращаясь к мальчикам и приветливо им улыбаясь:

— Вот догнал! Хочу подарочек вам сделать! От имени десантных войск!

Ребята ахнули. Майор протягивал им две тельняшки. Бориска замер, словечка не мог выговорить, да и Глебка молчал завороченно, только что-то тихо под нос промурлыкал, ровно котенок. Одна мама громко воскликнула:

— Михаил Гордеевич! Да как же это! Чем же вас отблагодарить!

Майор ее не слушал. Перебив, сказал:

— Конечно, на таких бойцов, как Глебушка, тельняшки в армии не считаются. Но вы перешёте, Ольга Матвеевна! Пусть гуляет себе! Пусть воинский дух в себе воспитует!

Так и сказал: не воспитывает, а воспитует. Уже потом, не один год спустя, Бориска скажет себе: удивительно — ведь нерусский человек, а говорит лучше и красивее, чем другой русский! Хаджанов никогда не ошибается в ударениях и порой избирает такие оттенки русских слов, которые не всем даже учителям литературы известны.

Воспитует! Как возвышенно, как прекрасно и торжественно прозвучало тогда это слово в его устах. Одно всего словечко, а как много чувств добавляло оно к облику человека с отменной военной выправкой. Как достойно завершало образ новой силы и новой цели, вдруг властно вступившей в жизнь мальчишек.

Весь ужин только и разговаривали о майоре. Мама прибавляла подробности, ранее не сказанные или пока никому в семье не известные.

Хаджанова откуда-то прислали, хотя и не из Москвы. Про семью его ничего не слышно, хотя человек он не молодой. Снимает комнатку неподалеку от санатория и говорит, что хотел бы осесть тут насовсем. Непонятно, чем так понравился ему закопченный Краснополянок, наверное, просто еще не огляделся, не успел разочароваться.

— Но кто-то ему помогает, — говорила мама, — без того не может быть!

Вот раньше денег на ремонт не давали, а теперь даже и на пристрой напшлись. А это серьезные суммы. И всюду первое лицо — Хаджанов. Часто неожиданно куда-то уезжает, а возвращается всегда с чем-то: то оборудование получит, то еще что-нибудь полезное. Однажды прибыли два автобуса солдат из областного города. Они раскинули палатки прямо возле стройки, стали рыть какие-то канавы, а командовал ими опять же майор Хаджанов. Командовал необычно: вместо того чтобы погонять да указывать, сам каждый день махал лопатой часа по два, а то и дольше, и всем становилось неловко отлынивать, так что двигалось дело на удивление споро.

— Вот такой у нас десантник, — улыбалась мама, а через пару дней улыбалась еще веселее, потому что за стол уселись еще два малых десантника, ее сыновья в подшитой, а для Глебки так и вовсе переделанной тельняшке.

Ах, эти тельняшки! Какую жгучую зависть вызвали они у Борискиных друзей. Особенно завелись три погодка. Петя, Федя и Ефим наперебой предлагали ему любые свои богатства: от ящика пива, кучи шоколадок и жвачки вплоть до нового, правда, взрослого костюма, который, как они уверяли, запросто переделать можно.

Но Борька только смеялся: ну куда ему костюм? А тельник — вот он, всегда на тебе. Однако ж все-таки смутили его эти отчаянные братья предложением вовсе уж небывалым: махнуть тельняшку на велосипед. Новенький, купленный в местном универмаге, он был их коллективной гордостью, Борька слишком хорошо знал, что ему такого пока что не занять... Сильно он закручинился, даже голову свесил, так что их компания мигом сообразила — колеблется парень! — может, и уступит. Но он не сломался, однако.

Не устоял перед иным, когда другие братья, Витька Головастик и Васька Аксель вдруг попросили:

— А ты дай нам поносить. Напрокат. Временно. Раз в неделю.

Борис аж весь вздёрнулся от неожиданности: вот это да! Но как не дать корешам попользоваться тельняшкой хотя бы на время? И, подумавши, он спросил:

— Сегодня какой день?

Быстро вычислили: вторник. Тогда он стянул с себя рубаху, из-под нее тельник и протянул Головастику:

— Ты первый. Кому следующий вторник, кидайте жребий. Только, чур: в среду тельняшку честно возвращаете мне в восемь утра, постиранную и поглаженную.

О Глебкиной тельняшке речь, само собой, не шла, ведь ее перекроили на мальша, не растянешь.

Напоследок Бориска спросил корешей, хотя и ответ знал заранее:

— Парни, но они же продаются, тельняшки эти!

— Э, — ответил Головастик по справедливости. — Продаются, да не те!

Так обрела горевская команда первую свою тельняшку, не покупную, не магазинскую, а настоящую, десантскую!

14

При очередном полном горевском сборище на бревнышках Бориска рисовал новые возвышенные планы. Вот заканчивается ремонт в санатории, точнее, доделывают там пристройку, и по вечерам, а это значит после школы, майор позволит ребятам заниматься на тренажерах. А еще за забором делают тир!

Хотя Михаил Гордеевич пока ни слова о тире не произнес, в Борисовой голове уже утвердилось: непременно научусь стрелять!

Все, что говорил Борис, дружбаны слушали со вниманием, штрихи, набросанные по первому впечатлению, напрасными не казались, все складывалось надежно, и даже слишком, чтобы быть вероятным.

Головастик с Акселем сомневались: тир — это здорово, но это ещё когда, а к тренажерам Борьку, конечно, допустят, раз мать у него служит в санатории, а им-то с какого боку проникнуть? Петя, Федя и Ефим сомневались меньше, но по практичности своей не верили, что хоть в тир, хоть в тренажерный зал пустят забесплатно.

— Денег, конечно, за вход потребует, но сколько? Да и откуда они! — усомнился расчетливый Фима.

Бориска жмурился в ответ, даже злился — так хотелось ему, чтобы все получилось по-евонному. Уж больно крепко засел в него этот Гордеевич.

Вскорости Борис столкнулся с майором в городе. Бабушка послала внука за сахаром да в хозмаг за шурупами. Тут и заприметил его майор, сразу же громко заговорил, уважительно обращаясь, да так, что все, кто в магазине бродили, тут же остановились и стали мальчика внимательно разглядывать.

— О, Боря! Как я рад тебя видеть! Как мне повезло, что мы встретились именно тут! Мне без твоего совета не обойтись, а я один, не с кем посоветоваться! Подойди, пожалуйста, сюда! Вот выбираю шарниры. Для нашего с тобой тренировочного зала! Для дверей. Какие лучше, как ты думаешь? Двери-то легкие, да и хочется покрасивее!

Майор говорил громко, точнее — восклицал, выпаливая слова целыми очередями, будто вовсе и не военный человек, тем более десантник, а болтун из телевизора, из всех этих шутейных программ, где болтают незнамо о чем самыми громкими и пустыми словами, да так, что кажется, будто ничего важнее больше не существует.

С Борисом никто и никогда так не говорил, никто и никогда не обращался к нему так открыто и вежливо, и он зарделся румянцем, запольхал жарким пламенем под взглядами посторонних людей. Будто по горячим плитам, подошел к майору, и тот пожал ему руку, не прерывая своей громкой речи:

— Хочется латунные! Это красиво, правда? Ну, не эти же, железные! Может, они и прочнее, зато никакого виду!

А требовалось-то этих шарниров, как выяснилось, сотня, не менее! И продащицы частного магазинчика забегали по подсобкам, оставляя без внимания других покупателей, потому что как не обслужить вне всякой очереди такого уважаемого оптового приобретателя?

Удивительным даром обладал Михаил Гордеевич! Ничего такого не сказал, выпустил десяток словесных очередей, пожал Борису руку на глазах у чужих людей, приобнял его за плечи, сделал вид, что советует, какие шарниры купить, будто Боря был спецом по этим самым шарнирам, — только и всего! — но сразу и окончательно завоевал Борисово сердце. И хотя даль-

ше-то, накупив еще всяких железок, Гордеевич попросил юного друга помочь ему подтащить тяжести до санатория, Боре даже в голову не пришло, что его просто используют как носильщика.

Он ликовал, разгораясь все более и более, он был сердечно благодарен, что этот коренастый человек идет с ним вместе, говорит про какие-то пустяки, но говорит доверительно, так, как разговаривают между собой давно знакомые и хорошо друг друга знающие взрослые мужчины.

Майор, по сути, ставил Борю на одну с собой ступеньку и тем самым совершал великое чудо перехода подростка из отрочества во взрослость, минуя юность. И сравнить это можно только с перескакиванием через школьные классы. Скажем, из восьмого — сразу в десятый! За особые заслуги перед этим кареглазым, громкоголосым и мужественным — мужественным же, ведь его ранили! — учителем.

По какому-то чудесному стечению обстоятельств Борис в тот раз был один, Глебка оставался дома, и, таким образом, после прощания у санаторских ворот с Михаилом Гордеевичем у Бори была уйма времени, чтобы осмыслить происшедшее.

Ничего вроде бы не произошло. Но и произошло чудесным образом!

К нему обращались как к равному, как к взрослому. И на все вопросы, которые толпились в Борькиной голове, ответы даны. И что ребят в санаторий, конечно же, пустят! Понятное дело, бесплатно! Только надо секцию организовать, да и ребят-то подобрать побольше — человек до пятнадцати — двадцати. А еще следует обдумать, что за секция, ведь тренажеры — это только часть тренировок. Надо выбрать вид спорта. Борьба? Тогда какая? Бокс?

Ну, а стрельба в тире — нескорое дело. Переделать из руин, — шутка ли? Сколько денег надо. И вообще!

Так майор впервые сказал про тир. Мимоходом, будто про планы дальние.

На прощанье предложил Бориске:

— Если хочешь, будь моим главным помощником по молодежной секции! Назначай! Я ведь никого, кроме тебя, не знаю. Готовь ребят! Подбери кадры! Проверь их достоинства! Думай, но громко пока не объявляй! Еще рано!

На том и разошлись.

Борис побежал к дому, забыв про сахар и шурупы, — столько в нем было прыти после разговора. У парка все же притормозил. Зашел туда. Сел под вековую липу, перевел дыхание.

До чего чудесный встретился ему человек!

15

На маму он тоже влиял, этот майор. Сначала-то Борис не очень разглядел перемены, в ней происходящие, да вглядчивая бабушка на них навела.

Прежде мама возвращалась уставшая, бывало, подолгу лила холодную воду на руки, и бабушка всегда ругалась, велела, напротив, горячую включать, потому что от холодной-то артрит образуется, а при такой работе, как у мамы, особенно.

Сколько за день-то она людей переменит да разотрет! Сколько сил истратит и руки свои как натрудит. Конечно, с поднятием тяжести, какой-нибудь штанги или там гирь каких, сравнивать нельзя, но то, что руки гудят, плечи устают — это факт. Бывает, человек много бегают или ходит — кто станет спорить, какая это большая нагрузка? А вот массажистка или массажист подобны бегуну или ходоку, только он не ногами, а руками бежит! Мнет и мнет, да еще и по науке надо — одни мышцы так, а другие этак, да и до костей еще пробрать, снять, скажем, отложение солей в шейном отделе, а это требует и навыков, и, что говорить, силы.

Все это Борис с детства от мамы слышал, а потому и привык, что, вернувшись из санатория, подержав руки под струей воды, она усаживалась на лавку или в старое, с плюшевой обивкой кресло и полусидела — полудежала так, раскинув руки и ноги, с полчаса.

Иногда она задремывала, даже всхрапывала, случалось, и в эти полчаса, так повелось издавна, все двигались на цыпочках, говорили шепотом, берегли мать, признавая ее безусловное право на краткий отдых после перетруженного дня.

Но с появлением майора мама отдыхать перестала. Руки под водой держала, но потом, с шутками да прибаутками, сразу принималась за уборку, стирку, глажку и прочие простые, но обязательные женские дела, без которых ни один дом не стоит.

Бабушка поначалу советовала, чтобы она не нарушала традицию, присела в кресло, но мама отговаривалась тем, что дел слишком уж много накопилось, и бабушка ворчала в ответ, что в них, в делах-то домашних, и прежде не было недостатка, но она отчего-то валилась с ног, а теперь...

Теперь, выходило, сил прибавилось, и бабушка недолго искала причину: ведь мама только и говорила про Михаила Гордеевича — он, мол, и такой, и сякой, и улыбчивый, и работающий, и скромный, и деловой.

Слушая маму, можно было с точностью до дня установить, когда закончили класть стены санаторского пристроя, крыть крышу, стлать полы и навешивать батареи. Она рассказывала, как, когда и в каком разнообразии завозили оборудование для физиопроцедур, какие-то ванны и души, и из ее рассказов следовало, что санаторием вообще управляет только майор — личность почти что легендарная, пробойная, с невидимыми миру связями, но вдобавок еще и обаятельнейший, достойный, кристально чистый и честный человек. Так что полковник медицинской службы, начальник санатория, немолодой уже человек по фамилии Коротов, теперь уже ни в чем не перечит своему заму, на все согласен, вслух удивляется способностям майора и скрытым, как оказывалось, возможностям каких-то военных медико-снабженческих служб, вдруг ни с того ни с сего решивших так основательно обновить забытое и в общем скромное заведение, превратив его в настоящий оазис.

— К войне это все, прости Господи, — ворчала Елена Макаровна.

— Да уж идет она, война-то, — посмеивалась ее дочь.

И впрямь, разве не война все эти афганистаны, чечни, дагестаны и Бог весть еще какие места и местечки, вплоть до самой до матушки до Москвы, где то рванет, то бабахнет, то просто хлопнет выстрел, нацеленный в живую чью-то плоть. И во всех этих побоищах гибнут люди — офицеры, солдаты — молодые совсем ребятинки, которых шлют то в одну сторону, то в другую, и всегда под удар, под разрыв снаряда или под пулю.

Есть, конечно, и просто при сем присутствующие — им-то и достаются, раньше других, санаторские путевки. Всякие там военные столоначальники — их тоже хватает — снабженцы, штабисты, кадровики и всякий прочий разводящий люд.

Правда, попадают и настоящие бойцы, войной меченные. Эти сильно неразговорчивы, не больно приветливы, редко и нешироко улыбаются. И попивают сильно, внахлест, будто норовят забыться, что-то в себе вымыть, выскоблить, отстирать.

Мама таких людей всегда примечала, говорила, что санаторий к ним старается поласковей быть, и она в том числе. Ведь не сразу разберешь, кто откуда и с чем здесь оказался. Чаще всего под конец срока отдыха, да когда еще подохнет, вдруг усадит ее возле себя такой отдыхающий да расскажет такое, что лучше бы и не знать...

Разговор вполголоса, чтобы Бориска не расслышал, бабушка с мамой завели на кухоньке, отделенной от комнаты побольше лишь дощатой переборкой, где стояли кровати ребят да бабушкин диван. Сперва Боря подумал, что женщины, как часто случалось, перебирают что-то свое, только им интересное, но когда бабушка помянула майора, насторожился.

— ...да он, поди, и моложе будет, твой майор-то, а? — хихикнула бабушка.

— Ой, да брось ты, — отвечала мама. — У нас вообще одни мужики, ты знаешь, и что теперь, каждого остерегаться надо?

— Да где уж! — Бабушка явно сердилась. — Разве старуху-мать следу-

ет слушать да почитать? А ведь ты сама уж немолода, гляди! Седина в голову, бес в ребро.

— О-о! — воскликнула мама. — Это не про нас, это про мужиков! Мы же все грехи свои в подоле несем, никуда не бросаем.

— Твой героизм мне известен! — бурчала бабушка. — Только, думаешь, одна будешь тащить свои грузы-то? А я и не в счет?

— В счет, мама, в счет, да только не убивайся, третьего случая не будет. Да и молод он, майор-то этот, вроде младшего братишки! Однако почему ж не позволено порадоваться-то? Да хоть бы и за ребят?

— Позволено — не позволено, — стучала бабушка мисками, — черт вас поймет, нынешних. Как хочю, так ворочу, никакого вам укороту.

Мама хихикала в ответ, утишала голос, чего-то они там вдвоем шуршали, шептались, потом смеялись, а у Бориса холодная льдина опускалась в низ живота.

Всё уже понимал. А про мужчин и женщин всё давно показали им по телику, в кино, да и так, сами образовывались в разговорах на бревнышках.

А теперь вот вдруг он узнает что-то про мать!

Она, конечно, женщина, но никогда он про нее не думал в том, гадском смысле. А тут сама про майора разговоры завела. Значит, что-то есть, к чему-то клонится дело... Не дай Бог!

И он тогда, для себя неожиданно, спросил громко:

— Мам, у тебя что, с майором — роман?

Она выскочила из кухонки растерянная, покрасневшая, с испуганными, округлившимися глазами.

— Ты что? — крикнула. — Да как ты смеешь?

И обернулась к кухне.

— Вот видишь, мама, чего стоят твои глупые подозрения? Как оно обрачивается?

Снова вскинулась на Бориску:

— Не смей! Слышишь, не смей! Никогда! Никого! Оскорблять! Подозрением!

И заплакала, ушла. А Бориска улыбался. Слава Богу, отлегло. Хорошо, что вот так: разом! И все ясно!

16

Тем временем детский мир предместья, бывшей деревушки, а ныне городской окраины менялся в соответствии с переменами возраста, вкусов и пристрастий его юных обитателей, которые были по-прежнему не очень разнородны, скорее даже сильно похожи. Не внешне, конечно, а, так сказать, конструктивно.

Внешне акселерат Васька, к примеру, как был жердью, так и остался, только еще вырос, под метр девяносто ушел, в поднебесье, и в других обстоятельствах мог бы защищать цвета какой-нибудь баскетбольной лиги, опять же бабки клепать за вкинутые мячи, но в угарном Краснополянке ничего такого и в помине не предвиделось. Даже единственное баскетбольное кольцо в школьном спортзале по причине старости, а также попыток повисеть на нем рослых школяров сначала провисло, а потом и вовсе загнулось вниз.

Аксель тоже повисел пару-тройку раз на этом кольце и понял, что спорту этому, как, впрочем, и любому другому, подходит мало. Со временем грудь его каким-то странным образом втягивалась внутрь, плечи опускались, и стал он все больше походить на старика молодого возраста, который ходит тихо, медленно, осторожно, будто боится надломиться, разрушить своё членистое построение. При этом ноги, руки, да и рёбра Акселя, даже таз его, были страшно худы, безмышечны, сквозь тонкую и белую кожу проглядывали голубые змейки вен, так что он порой казался прозрачным и выглядел явно нездоровым.

Вид и состояние Васи Горева обсуждались в семье, вызывали беспокойство учителей, но легкое — в одно касание; посмотрят, скажут что-то друг дружке, покачают головой, в лучшем случае посоветуют родителям у врача

проконсультироваться, да и все. Врачи же, рассказывал уже Васькин брат, Головастик, ничего неправильного в Акселе не отмечали. Говорили, чтобы побольше ел, что у него масса тела, то есть мясо, отстает от роста костей — этаким костлявый ёрш! Но Васька и ел от пуза, брат Витька пояснял, что в него ведро влезть может, без напряга. Аксель ухмылялся, пугал, что разорит семью, если в еде себе не будет отказывать.

В общем, всем ребятам на военкоматовском медосмотре в десятом классе на что-нибудь намекали — коренастым на флот или в авиацию, тем, кто пожилистее — в десант, кто тренируется — всякие училища предлагали, одному Акселю — ничего. Поцокали языками военкомовские врачи, покачали головами: худ, длинен, неповоротлив... Вроде ни на что и не годится.

Все над Васькой посмеивались, но, в общем, жалели акселерата. За что ему такая напасть? Отчего каким-то прихотливым образом сошлись в нем все эти маленькие атомы, клетки или гены — как их? А дальше что? Где он невесту себе найдет? Какую профессию получит? Как над ним потешаться станут во взрослой и, ясное дело, несладкой жизни?

Ведь вон кровный брат его, Витька Головастик! Прямая перпендикулярность! Башка молотобойная! Сколько врагов снес он одним простым, но бычьим ударом — в поддых, в грудь, а уж в лицо, в нос — просто страшное дело. После трех-четырёх случаев в дискотеках, на улицах и просто так, по баловству, когда старшие парни, а то и взрослые мужики пробовали приструнить, оттянуть, наказать Головастика и начинали злоупотреблять силой ли, числом ли, возрастом, Витька поражал энтузиастов с такой сногшибательной яростью и силой, что после первого же пролома взрослой стаи никто более испытывать этот бронеголовый снаряд не желал, и заводили бодро, под Витькин свист, разбегались.

Вот ему, Головастику, военкоматовские предлагали многие царства, среди них аж морскую пехоту, но он кочевряжился, в хомуты не желал и тянул вслед за Акселем в школе, хотя и отставал по возрасту на два года.

Тянулся — это слово относилось ко всем к ним, ко всей команде. Учиться в школе было не то чтобы неинтересно, а нудно, тоскливо, пасмурно.

Похоже, не попались этой кучке озорные учителя, которые были способны раскатать слабые, еще не проснувшиеся умы, завести, раскрутить потенциальные двигатели. И получилось так, что тела их росли и развивались, а вот серое вещество в черепной коробочке всё еще подремывало, ворочалось, как медведь в берлоге, и всё не приходила весна, чтобы озарить эту берлогу ясным чистым светом открытия самого себя.

Нет, свет прорывался — разве не знали они, что такое простая радость, хорошая погода, дружеская улыбка? Много чего постигали они среди простейших чувств и открытий. Но к сложным так и не подступились.

Петя, Федя и Ефим, по возрасту бывшие ближе к Глебке, чем к Борьку, разумеется, тоже переменялись в соответствии с годами. Слухи о том, что семейка тихо шарит, пригасли. С возрастом постепенно втягивались они в семейный бизнес. Мама открыла продовольственную лавочку на другом конце города, торговали, судя по рассказам сынов, всем, что съедобно, и ребята по очереди помогали родителям на работе, потому что по мере расширения дела отец и мать стояли за прилавком, а несовершеннолетние сыновья, которым, по закону, вход за прилавок был запрещен, колготились на подхвате. Организовывали завоз товара, перетаскивали его, распечатывали, томясь родительским приказом, чтоб ничего — ни-ни! — ни в рот, ни, Боже мой, в карманы, потому что в магазинчике все не чужое, свое. Да и то! Разве это не глупость воровать самим у себя?

И трое братишек, шибко, видать, пораженные этой новой практикой, присмиревшие, загрустившие, угасшие, от родительских трудов в восторг не приходили. Напротив, через несколько длительных месяцев непрерывного, после уроков, приторгового труда Петя, Федя и Ефим вдруг, ни с того, ни с сего, начали проявлять сперва робкий, но все-таки явный интерес к учебе. Домашние задания выполнялись усерднее, пусть и в ущерб процветанию родительского магазинчика; после уроков братья оставались в разных кружках — по химии, по математике, даже по литературе, участвовали в допол-

нительных детских массовках, от которых, например, Витька и Аксель отлынивали. Как и Борис.

В общем, прав классик: бытие определяет сознание. Магазинчик родительский, товар, деньги и снова товар, вовсе не увлек горевскую троицу, братьев-погодков, а медленно, но верно отторгал от себя.

Однако же не сильно все они разошлись. Веерного такого разброса не получалось. Все летели близко друг от друга, хоть в разных классах, но в соседстве, диктуемом, видать, всей прочей близостью — домов деревянных, деревенских, в общем, одинаковой или совсем похожей историей близких предков, душевной одинаковостью и простотой родительской жизни.

А в общем — все они росли, не ведая как про высоты духа, так и про низины страстей. Жили негромко, бесцельно, куда кривая вывезет, да и учиться слишком особой охоты не было.

Тянулись — вот подходящее слово.

17

Глебушка теми годами подрастал, наполняя свою малую душу знаниями не только практическими, земными, но и вполне воздушными, которые принято считать детским баловством, а никак не серьезным стремлением — впрочем, считать так, призадумавшись-то, как раз и есть непростительная ошибка.

В каждом, даже самом несуразном детском желании надобно бы отыскивать звездочку, сияние мечты, вполне, может быть, осуществимой. А если и не осуществимой, то уж наверняка возвышающей, поднимающей душу на крыло, вдохновляющей на новые фантазии, хотя фантазии — это что-то неисполнимое. Но ведь и неисполнимое, всякая мечта, если она благая в сути своей, сиречь важный шаг в движении души. Значит — шаг в развитии. Рост.

А Глебка предложил почти невозможное.

Дело было в начале июня, горевский клан, весь семерик, опять, хотя это и часто случалось, выбрался на околицу своей бывшей деревни, бродил по полям. И припозднились: тихо подкатили сумерки.

Как красив он оказался, этот конец дня! Над долиной, полной простых луговых цветов, вдруг потянулся туман. Сперва тонкие прозрачные ленты, слоясь, неслышно разрастались, заволакивая луг, и скоро оказалось, что видны лишь вершины елей и сосен по ту сторону веселой речки Сладёны, и видна луговина прямо под ногами, а середина между землей и небом затушевана светло-серой ватой, рыхлой, неосязаемой, но застилающей взгляд, таинственной, способной, наверное, человека, если он войдет в нее, запутать, принудить его потерять ориентиры, заблудиться.

Но туда ребята не стремились. Любовались, усевшись прямо в разнотравье на опушке березовой рощи.

Любуясь туманом, они умолкли, что, в общем, весьма нехарактерно для теперешнего городского молодняка, — обычно ходят по лесу, врубив музыку на всю катушку и даже не догадываясь, что всякий лес, даже худенький лесок, интересен своими собственными звуками — жужжанием шмеля, постуком дятла, наконец, просто тишиной.

Ну, а если тишину вдруг разорвет соловьиная трель? Метрах буквально в десяти?

У горевских переносная музыка, конечно, была к тому времени в каждой семье, но они никогда ее в прогулки окрестные не брали, и все дело, наверное, в том, что сильно еще в каждом из них, помимо их воли, бродила деревенская кровь. Ведь всякий селянин любит и слышит тишину, звуки близкой ему природы — речки или ручья, леса, луговины. Беден тот, кто лишен этого, пусть на плече у него самый богатый радиокотбайн с наимодной, чаще всего громкоголосой и вполне дурацкой музыкой.

Так что горевский семерик, как только в ближних кустах грянул страстный соловьиный пощелк, не заорал дико и не заматюгался, как принято, дабы подчеркнуть свое радостно-независимое состояние. Напротив, парни сразу умолкли, и лица их разгладились.

Ах, как пел тот соловушка! И цокал, и трещал, и разливался чистой флейтой. Оказалось, он еще и дирижер, потому что совсем неподалеку, и справа, и слева, и чуточку в глубине березовой рощи, обитали еще три солиста, но и без всякого музыкального слуха было ясно, что те еще не такие мастеровитые, как этот, может, они еще совсем молодые, что, конечно же, не беда — пройдет неделька, и обучатся у опытного маэстро.

Нет, это невозможно передать словами — как они пели тогда! Четверо в самой близости, и еще несколько голосов издали, в лесу по ту сторону луговины, за туманной кисеей.

Будто волшебный театр перед мальчиками. Занавес запахнут, но не до конца, верх и низ ясны, хотя и угасают в сумерках, и наверху, прямо над ними — тоненький ясный блестящий серп, его и луной-то не назовешь, ведь даже в самом слове “луна” заключается что-то округлое и полное, а тут — золотая скобочка, половинка девичьего колечка, обточенного с краев, знак всемирной новизны и детского удивления — как же все это совпадало с ликованием соловьиного оркестра!

И тут Глебушка поставил задачу. Обращаясь не только к Борису, но и к остальной умолкнувшей братве, он прошептал, чтобы не спугнуть птиц:

— Хочу увидеть соловья!

Будто ветерок прокатился, и все головы разом закачались. Первым ответил Акселерат, как самый старший и, значит, знающий. Он прошептал:

— Его никто не видел!

— Это невозможно, — подтвердил Головастик, человек, способный все сокрушить на своем пути.

— Нельзя!

— Не бывает!

— Не получится!

Это три шелеста братьев-погодков.

Один Борис возразил:

— Кто-то же видел! Какие-то ученые! Есть же, как их? Птицеведы!

Один из погодков легонько фыркнул, но другие его укоротили: слушай, мол, балда!

А Глебушка повторил:

— Хочу посмотреть!

— Не капризничай, — шепнул ему Головастик.

Но Глебка ведь не капризничал, кто как не Бориска знал это лучше всех, а потому пригреб к себе маленького братишку, придвинул к себе, шепнул:

— Молчи! И слушай!

Бориска даже вообразить не мог, какой урок себе назначил — не только себе, но и Глебке, конечно, и всем остальным.

На другой же день он отправился во взрослую библиотеку, благо разумно захватив паспорт. Их ведь теперь выдают аж в четырнадцать лет, так что человек рано может считать себя взрослым и ответственным. По крайней мере, во взрослую библиотеку с паспортом его записали без всяких возражений, да только запрос нового читателя оказался не вполне взрослым.

Когда его спросили, что бы он хотел почитать, Борис попросил:

— Про соловьев!

— Про кого? — удивилась библиотекарша, тетка пожилая, невзрачная, серенькая на вид и маленькая ростом, по внешней видимости больше подходящая для торговли в какой-нибудь продуктовой лавчонке.

— Про птиц, — твердым голосом повторил Борис, — соловьи называются!

И тут, вывернув из-за книжного шкафа, появилась еще одна книжная служительница — Боря сразу ее узнал — Дылда из старого парка, та самая, что кривлялась с пивной бутылкой в руке, которую он тогда, много лет назад, повалил и вроде как наказал — да разве таких накажешь?

Он знал, она училась в их школе, была старше класса на два, кажется, потом исчезла, и если он видел ее пару раз на улицах городка, то лишь мельком, издали. Да и вообще, разве могла она вызывать у него хоть какой-то интерес? И вдруг она — библиотекарша! Увидела его, смутилась, посерела лицом, глаза отвела...

— Соловьи! Птицы! Орнитология? — закудахтала пожилая уже осмысленнее. Воскликнула: — Господи, да это же Брем! — И обернулась к дылде: — Ну-ка, ласточка, принеси том Брема про птиц! Ты знаешь, где Брем лежит?

— На “бэ”, — сумрачным эхом откликнулась Дылда.

Тут бы и рассмеяться, но не то, видать, это было место.

— Не только! А еще и в естественных науках! — уточнила тетка.

Борис продолжал удивляться: как эта Дылда, известная крикуша, вдруг оказалась при тихом деле, в библиотеке, здесь ведь все-таки надо что-нибудь особенное уметь и быть хотя бы слегка культурной. Черт-те что!

Как ни странно, Дылда вернулась скоро, обеими руками несла толстый и, наверное, дорогой, нового издания том, а лицо ее озарилось неожиданно застенчивой улыбкой.

— Вот Брем, — сказала она, обращаясь к Борису, минуя маленькую свою начальницу. — И про соловьев тут есть. Много!

Он покивал головой, поблагодарил, взял книгу подмышку и уже отправился, прощаясь, да тетка окликнула его: оказывается, он забыл паспорт. Осклабилась:

— Значит, придешь еще!

Экая глупость, думал Борис, конечно, приду, книгу-то придется сдавать, или они не надеются?

В библиотеку он отправился один, от Глебки отделался по той причине, что не знал точно, запишут ли его в эту библиотеку, уже взрослую, а не детскую, да и не хотел спрашивать при Глебке о соловьях. Тот-то помалкивал, будто забыл. А если при нем спросишь, опять заведется.

Так что и читал он томину ученого Брема с чудным именем Альфред в одиночестве, опять у подножья древней липы в барском парке. Главку о соловьях проглотил споро, читая бегом, впадая в восторг, а, едва закончив, кинулся домой, к брату.

18

Глебка крутился дома, то путался на кухне у бабушки, то вертелся в ограде или тосковал на завалинке и, едва заслышав братьев голос, рванулся к нему. Стул уронил.

— Смотри во все глаза, — призывал, усаживая малыша рядом, старший. — Вот какой соловей, гляди, картинка.

— Не цветной! — огорчился Глеб.

— Книжка писана давно, да и красить нечего — он серенький. Послушай, — велел Бориска, — как ученые пишут: “Цвет перьев на верхней части тела красновато-буро-серый, темнее лишь на темени и на спине, — рукой Борис шлепал Глебку по темени и спине, указывая, о чем именно идет речь, — нижняя часть тела светлого желтовато-серого цвета, середина груди и горло самые светлые, — Глебка смеялся, оттого что щекотно было, когда Боря горло его трогал. А тот продолжал: — Глаза красновато-карие, клюв и ноги красновато-серо-бурые”.

— Значит, — делал вывод Глебка, — этот дяденька соловья видел?

— Еще как! — смеялся Бориска. — Во всех подробностях! Это только мы в нашем Краснополянке ничего не видим и не знаем.

— А я хочу! — не требовал, а скорее радовался Глеб.

— Кто хочет, тот добьется, кто весел, тот смеется, кто ищет, тот всегда найдет! Слышал такую песню? — улыбался старший брат. Прибавлял все-рьез, о себе подумывая: — Только хотеть да искать не ленись!

— Я не ленись! — осердился Глеб.

— Ну, и здорово! — ответил старший. — Так слушай дальше. И запоминай!

Он читал:

— “Там, где этот чудный певец пользуется некоторым покровительством человека, он селится в непосредственной близости от его жилища, вовсе не выказывает пугливости, скорее, наоборот, бывает даже смел, и потому жизнь и действия его нетрудно наблюдать”.

— Вот! — восхищался Глебка, — а Васька говорил, что его нельзя увидеть. Значит, можно?

— Слушай дальше! “Нрав соловья может быть назван строгим и рассудительным. Движения его размеренны и исполнены достоинства, осанка благородная, и в этом отношении он превосходит всех других птиц нашего отечества. Обыкновенно соловей сидит на ветке, невысоко над землей, довольно прямо, приподняв хвост и опустив крылья так низко, что кончики их расположены ниже основания хвоста. Соловей редко прыгает по веткам. Если же это случается, то не иначе, как большими скачками... Соловей летает быстро и легко, поднимаясь в воздухе дугами, маленькие же расстояния перелетает, порхая с куста на куст и покачиваясь из стороны в сторону. Днем никогда не носится над открытым полем...”

— Боря, — остановил чтение Глебка. — Я люблю соловья. Он очень умный.

— Да уж не дурак, — пошутил Борис. — Но ты, похоже, устал?

— Нет, не устал, — серьезно ответил Глебка, слезая со стула. — Но мне надо постепенно, понимаешь. Вот ты мне принес торт, вкусный-превкусный. И потчуешь изо всех сил, хочешь, чтобы я его съел за один присест. Но я не могу, извини. Мне надо маленькими кусочками. Головка-то у меня — видишь? Совсем маленькая! Все сразу не входит. Так что прости, я погуляю, подумаю, хорошо? А потом ты считаешь дальше!

И не обратив внимания на Борисов смешок, пошел к выходу, приборматывая:

— Это надо же! Никогда не носится над открытым полем!

Бориска глядел в спину братцу, переступающему порог, и опять небывалая нежность сжала его совсем не взрослое сердце. И радость окатывала его — радость, что правильную книжку нашел и что господин этот Альфред Брем оказался таким простым и понятным даже им с Глебкой.

Какое-то будто бескрайнее и радостное пространство открывалось перед ним самим — облака над головой, кучевые, нарядные, окрашенные в розовый цвет солнцем, а впереди — а он стоит на высокой горе — поле, усыпанное цветами, река, отражающая небеса, и прозрачный ясный воздух, полный стрижей и других прекрасных птиц. Только тут соловьев нет. Верно же заметил Глебка фразу из книги: днем он никогда не носится над открытым полем, а в Борькином видении и пространстве ясный день, пронизанный солнцем — пригашенным, неярким, отчего пространство, видимое с горы, прозрачно, далеко различимо и поразительно неразмывчато, четко...

Такие видения вообще стали зачем-то являться к Борису в последние годы. Ни с того ни с сего. Кто-то что-нибудь скажет, или сам он задумается — и вдруг словно перелетит в иной мир, перескочит в чудесные, никогда не виданные дали. Они были разными и в то же время одинаковыми. В них никогда не было людей, хотя животных и птиц великое множество. И всегда — величественная, какая-то вселенская красота. Виделись вдруг ему неведомые, нетронутые леса, да такие близкие, что хотелось потрогать бабочку, пролетающую там на расстоянии вытянутой руки.

Он видел и горы, озаренные боковым солнцем, и склоны вершин казались ярко-фиолетовыми, как у какого-то знаменитого художника, картину которого он видел в журнале.

И моря ему млились, да такие, что и придумать невозможно — все в айсбергах, очень ярких, синих и белых, цветах, немыслимой красоты, с голубизной, неоглядные ледяные поля...

Будто он летал над землей в эти мгновенья. Хотя никогда при этом не спал, вот что удивительно.

Мало ли какие людям снятся чудеса, ему так почти ничего не снилось, разве что какие-нибудь мелкие разговоры с мамой, бабушкой, ребятами из горевской компашки, а сцены эти вселенские, феерические, великие дали и пространства возникали вдруг, ни с того ни с сего, посреди бела дня. Будто душа его отделилась от тела, вознеслась на недосягаемую высоту и оттуда обозревает мир, то ли прощаясь с чем-то, то ли что-то познавая и к чему-то необыкновенному приготавливаясь.

Есть в русском языке слова, обозначающие такое состояние, — почудилось, померещилось, примлилось, приблизилось. Вот и Бориске блазились какие-то непонятные, но яркие миры, и не сразу он приходил в себя, возвращаясь из этих странных путешествий духа.

В тот раз его вернул в избу Глебка. Он тронул старшего за руку, легонько прикоснулся — и, похоже, не в первый раз, — бережно всматриваясь в брата, сидевшего с открытыми глазами, но в странной, нездешней какой-то задумчивости.

— Ты чего, Боря? — спрашивал Глеб и смотрел на него взрослым, будто все понимающим взглядом. — Ты чего?

Бориска часто дышал, и пульс у него учащался, когда блазились ему невиданные просторы. Наверное, так же часто бьются сердца у птиц, вьющихся там, в безмерном пространстве — их скорость велика, крылья трепещут, а значит, и кровь должна перетекать очень быстро.

Борис вздохнул, душа его спланировала с горних высот обратно в тело, он взглянул на Глебку с прежней радостью за него, да и за себя, за книжку, которая подарила это чувство, спросил:

— Ну что, еще кусочек торта?

— Нарезай! — понимающе откликнулся братец.

— Читаю. Хотя тут большой кусок из Тургенева.

— Что это? Тоже торт?

— Ещё какой!

— Попробуем!

— “Хороший соловей должен петь разборчиво и не мешать колен, а колена вот какие бывают:

Первое: Пульканье — этак: пуль, пуль, пуль, пуль.

Второе: Клыкание — клы, клы, клы, как желна.

Третье: Дробь — выходит примерно, как по земле дробь просыпать.

Четвертое: Раскат — трррр.

Пятое: Почти понять можно — плень, плень, плень.

Шестое: Лешева дудка, этак протяжно го, го, го, а там короткое: ту!

Седьмое: Кукушкин перелет — кукушка как полетит, таким манером кричит. Сильный такой звонкий свист.

Восьмое: Гусачок: га, га, га, га.

Девятое: Юлиная стукотня: как юла — есть птица, на жаворонка похожая, — или как вот органчики бывают, такой круглый свист: фюиюиюиюию.

Десятое: Почин — этак: тин-вить, нежно, малиновкой.

Это по-настоящему не колено, а соловьи обыкновенно так начинают. У хорошего нотного соловья оно еще вот как бывает: начнет — тин-вить, а там — тук! Это оттолчкой называется. Потом опять тин-вить... тук! Тук! Два раза оттолчка — и в пол-удара, этак лучше, в третий раз: тин-вить — да как рассыплется вдруг с... с... дробью или раскатом — едва на ногах устоишь — обожжет!” Уф!

— И я на ногах не стою, — утешил брата Глебка. — Еще бы не “уф”! Я, правда, ничего не понял. И не пойму, если мы с тобой, только без ребят, это еще раз не перечитаем. Там! В кустах! На опушке, где они поют!

Снова поразился Борис совсем недетскому желанию Глебки. А отвертеться не мог. И хотя книгу в сумеречное путешествие на природу они все-таки не взяли, сидя в том же месте, где сидели несколько дней назад всем гуртом, однако что-то припоминали, так написал Тургенев: и раскат — трррррр, и плень, плень, плень, плень, и клы-клы, и пуль-пуль... И круглый свист, еще совсем недавно непонятно почему так называемый, в самом деле оказывался круглым, а как еще иначе: фюиюиюиюию...

Глебка при том заметил Тургеневу, что дробь звучит, будто рассыпанная не по земле, а по полу — это больше похоже. Еще жаловался Борису, что не знает, какая это птица юла. Зато слово “оттолчка” сразу полюбил и к себе приспособил. Даже научился подражать, конечно, совсем не по-соловьиному, а по-человечески и по-детски:

— Тин-вить, тук! Тин-вить, тук!

Но результат Борисовых стараний оказался негодим. Глебка не успокоился, повторил:

— Хочу увидеть!

Еще и удивился:

— А ты, Боря, разве не хочешь увидеть соловья? Особенно теперь! Когда мы так много уже про него знаем?

Подвигнул на новые розыски.

19

Много дней шерстил Борис книжку Брема, все искал рецепт, как поймать соловья, но ничего подобного не обнаружил, только срок в десять дней, отведенный библиотекой, сильно превзошел, явился туда хотя и с просьбой, но не уверенный, что будет понят. Так и вышло. Библиотечная начальница нахмурилась сразу, как только он порог переступил. А достав карточку, куда книга вписывалась, принялась отчитывать:

— Что же вы, молодой человек! Разве можно так задерживать? Книжка-то, сами видите, непростая, в одном экземпляре, дорогая. Мы вам, как новому читателю, одолжение сделали, выдав на дом, а вы...

— Извините, — покаялся Борис. — А что — её спрашивали?

— Кого её? — не поняла библиотекарша.

— Книгу.

— Ну, — смутилась, — допустим, и не спрашивали, но дорогая же, говорю вам, а за пропажи кому отвечать? Нам! Боимся!

Выдвинулась из-за стеллажей Дылда. Смотрела молча, с интересом, как конфузят её врага. Срамиться за так не хотелось, Борис ответил дерзковато:

— Ну, оштрафуйте меня, сколько я вам должен?

Теперь уже книжная начальница охолонулась.

— Да надо бы, надо бы, но на первый раз простим, ладно.

Кому нравится, когда его прижимают? И хотя грешок в наличии имелся, Борис не считал его существенным, достойным наказания, а потому полез в пузырь, то есть в задний карман джинсов, вытащил пару неразменных, на всякий случай, десяток, протянул библиотекарше.

Та занервничала. Ну, в самом деле, чего это она так: чуть что — и сразу застращала парня, заутрожала, одним словом, не на того принялась управу искать.

Руками замахала, указала на Глебку — он за спиной стоял, всему внимал оттопыренными своими ушонками.

— Вот лучше брату мороженое купи. — Придумала, заулыбалась. — От имени нашей библиотеки. Верно, Марина?

Вот, значит, как ее зовут, Дылду-то! Ни разу за долгие школьные годы не поинтересовался Борис ее именем — Долговязая да Дылда.

Выходило, Борису уступали, как бы прощали невелик его грех, малость подумав, он деньги убрал, всё не решаясь задать вопрос про новый свой интерес. Так что Глебка его выручил — этот смущения не имел.

— А дайте нам теперь книжку, — проговорил он, — как соловья поймать.

— И зажарить? — молвила Марина.

Настала краткая пауза. Глебка просто подивился ее вопросу, но вовсе не смутился.

— Почему зажарить? — спросил он. — Посмотреть, а потом отпустить.

— Зачем вам смотреть? — опять вскинулась хмурая маленькая книжная начальница. Похоже, она такой и в детстве была — маленькой и хмурой, да такой и состарилась, ничему не радовалась, ни с кем не шутила, все понимала всерьез. — Вы просто их слушайте! Разве этого мало?

— Ему мало, — вступился за младшего Борис. — Может, он хочет стать, как это... птицеведом, в общем.

— Орнитологом! — поправила Дылда.

— Ну!

— Таких книг у нас нет, — решительно ответила заведующая. — И вообще! Снова говорю! Слушайте! А не ловите! Лучше мороженое брату купи!

На том и расстались. Без новой книжки, как Глебка желал, но с новой, вполне радостной мыслью полизать мороженое по дороге домой. Ну, а Борис шел слегка умытый. Его и отчитали, и вроде даже воспитывали. Такие речи были уже не по нутру. Ему, по крайней мере. Глебка-то что, с него как с гуся вода — купи ему поскорее мороженое.

Добрались до дому не скоро. Глебка долго примеривался к мороженому в маленьком магазинчике: шоколадное ему не нравилось, пломбир тоже, на красивое, с фруктовыми добавками у Бори не хватало денег, так что после долгих препирательств и уговоров сошлись на фруктовом эскимо, но едва вышли из лавочки, освободили от обертки, как Глебка уронил мороженое наземь, да в самую пыль! Ясное дело, разревелся, потому что, как ни пробовал Борис, очистить от налипшего сора эскимошку никак это не удавалось. Пришлось отдать тотчас набежавшей своре маленьких голодных бедолажек, одинаковых собачушек, дежуривших у магазинчика, похоже, весь световой день.

Глебка всхлипывал и шмыгал носом. Борис отдал ему свое эскимо. Шли, пыхтели, сетовали и на судьбу — не повезло! — и на себя — эх, криволапые!

Долизав по очереди мороженое, добрались до дому и, умывшись, отправились дальше с глупой, в общем-то, целью: спрашивать у людей, в основном старых, как словить соловья.

Отвечали по-разному. Даже не отвечали, разве это ответами назовешь. Удивлялись. Не понимали. Удивлялись и не понимали по-разному. Женщины, так те, три или четыре, не очень старые, руками махали: делать, мол, вам нечего, покололи бы лучше дрова, или попололи бабушке огород, — ведь ребята к знакомым обращались, к остаткам деревни Горево.

Пожилые дядьки и старики тоже терялись. Один, правда, совсем не дед, а просто мужчина навеселе, бодро откликнулся:

— Знаю! На мормышку!

— Да на мормышку же рыбу удят! — засмеялся Борис.

— А ты и соловья попробуй!

В общем, все то смеялись, то отмахивались. Только, подумал Борис, дурачками перед народом выставились. Глебке — что, а я-то не малыш.

И тогда они снова наткнулись на Хаджанова, на несказанное его, прямо сказочное предназначение. Просто забрели в санаторий, снова провели мать, она была еще занята, велела им подождать на скамейке у роскошной санаторской клумбы, а мимо шел Михаил Гордеевич. Не шел, а почти бежал, но ребят увидел и будто споткнулся. Каким-то макарон сразу разглядел, что им неймется, чего-то недостает, хотя эта мысль — соловья-то словить — не такая уж и главная была, беспокойством своим не мучила, не седела. Но, видать, был у майора какой-то такой рентгеновский взгляд, а может, странное, звериное чутье на всякое такое, что в человеке скрыто, упрятано под ровный взгляд и беспечную улыбку.

Он остановился перед ребятами, на их бодрые приветствия не ответил, а недолго разглядывал их, будто утверждался в своем мнении, в деталях разбирался, как бы вроде окончательный диагноз ставил. Потом и вовсе их прищипывающие улыбки отшел, спросил исподлобья:

— Что случилось?

— Да ничего, — растерянно протянул Бориска, — вот маму ждем...

Но Глебка откликнулся враз:

— Не знаем, как соловья поймать, понимаете? Все изучили, всех спросили! Никто не знает!

— Хо! — ответил Михаил Гордеевич. — Спросили бы сразу меня! Я их ловил! Не раз!

Братья со скамейки скатились. Чудеса, да и только. Вот уж про кого не думали — ни тот, ни другой. Военный человек и соловьи, что тут общего? Если бы про оружие какое спросить, это — да, дело понятное. А про птицу, да еще такую особенную? Но оказалось, где-то там на югах, где жил майор, когда никаким майором не был, а был таким же, как, к примеру, Боря, пареньком, соловьев этих, наверное, просто на каждом кусту.

— Голова, — рассказывал майор, — трещит от их звона, засыпать тяжело, и так всю ночь! Ну, вот мы, пацанами, и ловили их.

Он будто позабыл, куда торопился, спешил скоростным своим, коротким шагом. Сел на скамейку, а ребята по обе от него стороны.

— Кто-то рассказал нам, — сказал Гордеевич, сияя белоснежной доброй улыбкой, — что в древние-древние времена, в Италии, кажется, их ловили, жарили и подавали на королевский пир!

Ребята аж отпрянули. Но он не заметил:

— Вкуснятина, наверное. Но не для нас. Ведь мы не короли! Да и тогда-то мы ловили просто так, из любопытства. Поймаешь, поддержишь в руке и отпустишь.

— Ну, так как? — не терпелось Глебке.

— Он не ловится, как обычная птица, — сказал, хмурясь, майор, — ни на прикорм, под сеть, ни западней. Самая это умная птица. Аристократ. Солист великой оперы жизни, я бы сказал. Певец любви, не только птичьей. А осторожный — сравнить не с кем. Потому мы слышать его слышим, а увидеть трудно. Почти нельзя...

А Гордеевич рассказывал просто чудесно. Нигде, наверное, такое не прочитаешь.

Итак, у дивного певца есть великое достоинство — голос. И великое умение — осторожность. Но есть, оказывается, и великий же недостаток: любопытство. Кто и когда это открыл, неизвестно, но этого человека, без сомнения, можно тоже назвать великим. Великий наблюдатель.

И вот что он придумал.

В землю надо врыть зеркальце. Небольшое, но и не очень маленькое. Среднее. А чуть повыше закрепить два стекла, оставив между ними щель.

Соловей любопытен и, увидев в зеркале свое отражение, хочет познакомиться с другим соловьем. Может, подружиться, а скорее всего, поссориться из-за молчаливой соловьи, которая сидит где-то в гущине кустарника и тихо высидывает птенцов. И вот ее голосистый муженек, защищая честь и интересы семьи, увидев свое отражение, стремится к нему, прозрачные стекла перед зеркалом не мешают ему видеть соперника, он прыгает вниз, ближе к нему — и все! Щель между стеклышками неширока, а чтобы взлететь, надо ведь крылья распахнуть, но как их ни расправляй, взлететь нельзя, потому что сверху — стекло. И он остается между зеркалом и стеклами. Зеркально-стеклянная ловушка.

— Хотите, — радостно спросил Хаджанов, — я вам ловушку эту сделаю?

— Хотим! — радостно крикнул Глебка, и Борис кивнул, хотя на душе у него сразу сделалось холодно. Наверное, от этих ледяных стенок — снизу зеркало, сверху стекло. На секунду почувствовал себя крохотной птицей.

Тысячу раз спрашивал потом себя выросший Борис, зачем уж так старался Хаджанов, почему так усердно, и ведь не только на словах, хотел помочь им с Глебкой в самой малой малости, даже в таком детском и, в общем, глупом стремлении поймать соловья — и всякий раз бывали у него разные предположения.

Но тогда он ни о чем плохом не думал. Поражался этому майору. Все больше и глубже захватывал он Бориса своими неподражаемыми знаниями и умениями. А главное, такой невзрослой готовностью все бросить, чтобы прийти на выручку.

Глебка ликовал. Соскочил со скамейки, скакал вокруг клумбы. И очень скоро, минут через десять, Хаджанов явился с маленькой лопаткой и чем-то плоским, обернутым грубой желтой бумагой.

Они даже маму предупреждать не стали, зашагали вместе с майором в сторону предместья, березовой рощи, попросив только вахтеров ей передать, мол, не дождались.

Михаил Гордеевич и впрямь походил на мастера соловьиной ловли. Быстро и сметливо оглядел заросли, точно, без колебаний отыскал местечко — малую горку, под одним из кустов, самым кудрявым и непролазным, в десяток быстрых движений железной лопаткой отрыл ямку; установил в дно зеркало, следом, одно к другому, куски стекла, земляные отходы собрал горстями и отнес, не ленись, в сторону; конечно, тут и ребята помогли.

— Ну, вот, — сказал им, — набирайтесь терпения. Ловушку желатель-
но по утрам осматривать.

Потом раздумчиво, уже не так оживленно, как на скамейке, оглядел ре-
бят и добавил:

— Но я вам советую... Если попадетя, достаньте, поглядите, погладьте
и отпустите. Вообще это грех — соловья ловить.

Ответил на незаданный вопрос шуткой:

— Мы же не короли, чтобы их жрать! Еще не докатились!

20

Как долго тянулась соловьиная история, а как быстро кончилась! Будто
жизнь человеческая.

Рождается человек, растет, учится, страдает, наконец, становится взрос-
лым, добивается какой-нибудь своей цели — важной или не очень,
и вдруг — р-раз...

В первые дня три или четыре они бегали на березовую опушку по не-
скольким раз в день. Стекло в клетке было пусто, а зеркало сияло в тени,
будто посмеивалось над ребятами, удивлялось их наивности.

Потом заленились — так часто случается с детьми, даже и подростками.
А когда пришли Борис и Глеб через два дня поутру — оба на колени упали.

Под стеклами, на сияющей зеркальной пластине, будто на операционном
столе, лежала, раскинув крылья, мертвая незнакомая птица. Не похожая на
синиц, мухоловок, зорянок — кого ни называй, ни на кого не похожая. Сра-
зу понятно — соловей.

И подпалинки на голове и спине, и сам серенький, в общем, непримет-
ный. И еще кровь на крыльях и клюве — видно, бился о стеклянную кры-
шу, пытался вырваться и не смог.

Глебка ревел в голос, горевал неистово, качался из стороны в сторону,
да и у Бориса слезы капали, будто дождик, едва кулаком попевал их сти-
рать, чтобы взрослым остаться, почти мужчиной.

Ничего они не говорили, только плакали, только винились за глупость
свою, за нелепую настойчивость увидеть то, что увидеть нельзя.

Молча разобрали ловушку, и не просто так, а с какой-то глупой зло-
бой — Глебка ломанул ногой, обутой в кеды, стеклянную их постройку,
стекло осыпалось со звоном, но и зеркало лопнуло, раскололось. В это кро-
шево сложили соловушку, обернули лопухом, засыпали сверху землей.

Шли домой, не оборачиваясь, и снова в молчании.

Бориска с горечью думал про дурную приметку — разбитое зеркало. Глеб-
ка про свою глупую настойчивость — он еще не знал про сломанные зерка-
ла и ломаную дружбу.

Часть вторая

ЗАВЛЕЧЕНИЕ

1

В детстве кажется, что время не скачет, не бежит, а просто волочитя.
Это только потом, выбывая из детства, как солдат из воинской части, пони-
маешь ясно, что все, в самом деле-то, наоборот, и детство не просто быстро
проходит, а пролетает, проскакивает, пробегает стремглав...

Единственное, что способно удержать его ход, сократить шаг, приоста-
новить, хоть это и печально признавать, — беда.

Беда не должна достигать человека в детстве. Это несправедливо. Слиш-
ком слаба душа, почти невесом опыт, малы силы и ничтожны знания, что-
бы собрать в кулак все свои возможности и беду одолеть. Так что не дай Бог
никому беды в слабую и славную детскую пору. Пусть уж детство скачет, бе-

жит, прыгает, в общем — летит и не думает ни о чем печальном. Даже если печаль эта уже стоит за углом...

Глебка время торопил, как все. Ему хотелось Борису поскорее догнать. Тот вон вымахал здоровым парнем, бреется уже, пусть не каждый день, а только раз в неделю, плечи раздались — и вообще давно уже стал шире и выше майора Хаджанова, и зубами белоснежными сияет не хуже, чем тот. У майора же и научился — без конца всем улыбаться. Всем и даже без всякой особой причины, такова майорова наука.

Он повторял и Борису, и Глебушке:

— От вас ведь не убудет! Вот и улыбайтесь всем подряд. Это располагает.

— Даже врагам? — спрашивал Борис.

— А им — особенно, ведь вам их обмануть надо, ввести в заблуждение. Улыбаясь, прикидывайтесь другом.

Сложная это была арифметика: прикинуться другом врага, и не сразу обучались такому братья, но постепенно усваивались ими аксиомы майора Хаджанова.

Санаторий завершил свою двухлетнюю стройку, сиял новым великолепием: тренажерный зал, целый этаж физиопроцедур. Все, как предсказывал энергичный майор.

Но любимым местом его обитания стал тир. В какие-то мгновенные полгода за санаторским забором, на месте старой развалины, о которой и ребята-то не знали, разлегся продолговатый, утопленный в землю, серый прямоугольник с редкими, в нужных местах, узкими горизонтальными окнами, зато освещенный внутри особыми лампами, которые защищались спецстеклами. И стрелять здесь можно было из всех видов оружия, даже из автоматов Калашникова.

Но никаких автоматов здесь не было, только штук пять мелкокалиберных винтовок, хранимых в особом помещении за бронированной дверью (и дверь-то Хаджанов где-то раздобыл!), которую майор всякий раз не только запирает на сейфовый дверной замок, а и запечатывал пластилиновой печатью и ключи сдавал под расписку охране.

Тир посменно, по договору сторожили те же мужики, что сидели на вахте в санатории, на стенке висела под стеклянной рамочкой разрешительная бумага. Все чин чинарем!

Здесь, при тире, располагался и кабинет Хаджанова, да и не какой-нибудь, а построенный специально “под заказ”, как любил говаривать он — за столом, который почти перегородивал кабинет, под длинными, до полу, шторами в углу была дверь в заднюю комнату — для отдыха, подчеркивал он, с туалетом и душем, отделанными по всем правилам и даже, утверждал майор, получше, чем в кабинете начальника санатория. И рядом с дверцей в туалет, там, за кулисами кабинета, была еще одна дверца, которую он никогда и ни при ком не отворял. Даже при Борисе и Глебушке, которых все в санатории звали “майоровы сыны”.

Те, кто постарше и подольше работал там, над этим выражением посмеивались безобидно, признавая, что ребята и впрямь прикипели к Гордеевичу покрепче, чем к родному отцу. Другие же и впрямь считали майора их родителем, до того братья, особенно старший, походили на него: та же черная, просто смоляная, масть.

Подвыучив уроки — Глебка учился во втором классе, Борис в одиннадцатом, — они, как всегда, взявшись за руки, — топали в конце рабочего дня к санаторию, но мать тут уже была совершенно ни при чем. Иногда они ее встречали по пути, останавливались на минутку-другую, чтобы обменяться мелкими сообщениями, и шли дальше своими путями: мама — домой, а братья к Хаджанову.

Они попробовали было укрепить свои силы на тренажерах, и Борик добросовестно хлопотал о “молодежной секции”. Основу ее составили горевские братишки. Прибилось и несколько школьных дружков. Но все это быстро закончилось. В “качки” они не годились, для этого требовалось осознанное упорство и время, но ни того, ни другого школярам не доставало, с борь-

бой и боксом не вышло у Хаджанова, так что оставалась стрельба: именно там ожидался некий результат.

К вечеру деловая жизнь санатория утихала, отдыхающие расплзались по палатам, удалялись на прогулки, вообще бездельничали, потому что все процедуры заканчивались до обеда. Хаджанов удалялся в тир, туда к вечеру почти никто не заходил, и майор закрывал двери изнутри, так что мальчишки научились еще и условному стуку: два коротких подряд, третий — после паузы. Так, на всякий случай.

Включались софиты, мальчишки навешивали мишени, стреляли из разных положений — стоя, лежа, с колена. После серий — так называется группа выстрелов — бегали к мишеням, считали очки, радовались или огорчались, а вместе с ними майор, который почти что каждый день повторял им, сверкая улыбкой, что сделает из них мастеров спорта по пулевой стрельбе.

Это грело, тешило мальчишеские мечты. Они совсем близкими стали. И Борис, и Глебка наперебой рассказывали Хаджанову о своих делах и делишках, впрочем, совсем ясных, простых, еще вполне детских, и майор никогда не оборвал ни того, ни другого, ни разу не рассмеялся, даже не очень улыбался, когда слушал очередную новость, всякий раз ободрял ребят, удивительно тем вдохновляя и поддерживая.

Вообще-то он был многословен, и многословие его носило, заметил Борис, немножко базарный характер. Как торговец на базаре, и в этом ведь нет ничего плохого, он пересылал свою речь всякими простецкими, но удивительно утешающими словами.

— Ах, какая ерунда, — например, приговаривал он, — разве можно это принимать всерьез. Ты понимаешь, учительница не виновата в твоей двойке, значит, ты недоучил, сам подумай, но и это не беда. Когда сегодня придешь домой, сядь за стол, три раза прочитай материал, после уроков завтра подойди к ней, улыбнись вот так широко, как я, видишь, во весь рот, опусти голову, повинись, скажи ей: “Пожалуйста, Марьванна, — или как там ее? — простите, виноват, но не могу жить с двойкой по вашему предмету, будьте милостивы, снимите камень с сердца, выслушайте меня, а я попробую исправить отметку”.

Уже на середине этого исповедного монолога Боря улыбался, подставляя себя вместо Хаджанова, только не здесь, а в школе, и не сейчас, а завтра, и выяснялось, что, если строго следовать майорским советам, все происходило в точности. Да еще и так иной раз оборачивалось, что сразу за двойкой, например, по русскому, следовала пятерка, а это не было распространено в учительском мире — вот так сразу взять да и признать отличными знания, которых еще два дня назад не было вовсе. Действовала хаджановская режиссура, льстило поведение, слегка подслащенное подчеркнутым раскаянием, — и, да, многословием, выражавшим смирение, покорность. Вот именно! Своей покорностью, оказывалось, можно было купить благорасположение учителя и на эту монету обменять двойку. Значит, ее продать! Выручить пятерку!

Борис смеялся, рассказывая Хаджанову, как, следуя его правилам, он добивался успеха, но майор останавливал. Серьезно объяснял, что смеяться и радоваться тут особенно нечему. Надо правило такое заучить: старших уважать. Да и равных себе — тоже. И младших заодно.

— Значит, и меня! — вставлял Глебка.

— Значит, и тебя, — кивал майор, — и всех, всех, всех. Понимаете, если вы подчеркиваете — слышите это слово? — подчеркиваете ваше уважение к глухой старушке, к старцу, к малышу или учителю, не говоря про бабушку и мать, — вы сами становитесь уважаемыми. Если вы хорошо и вежливо говорите, а это лучше делать громко, чтобы все слышали, то и вам грубить не будут. Ответят так же. Вежливо!

И это получалось.

Но главная причина, по которой Глебка и Борис совсем уж близко сошлись с майором Хаджановым, заключалась все-таки в соловье.

Похоронив птицу и наревевшись, они пошли к майору и сперва несмело, а потом — перебивая друг друга, рассказали ему, как все было.

Он опустил голову.

Когда поднял вновь, в глазах стояли слезы. Но он сказал очень твердо: — Забудьте. Больше они никогда не говорили об этом.

2

Боря тренировался в самом детском, как говорил Хаджанов, упражнении: три по десять. Это значит, десять выстрелов надо сделать из положения стоя, десять — лежа и десять с колена. А каждые десять выстрелов — сто возможных очков, если считать, что каждый выстрел попадет в десятку.

Не таким-то это легким делом оказалось — стрелять в спокойном тире, один на один, ты и мишень. Сперва вообще руки тряслись, винтовка ходила ходуном, но постепенно майор обучил самым простым навыкам, как выцеливать десятку, как корректировать огонь, если прицел сбив, и как этот самый прицел регулировать, то есть по-настоящему подгонять винтовку. Он выбрал оружие ребятам, по отметинам на прикладе удалось свои “винтари” запомнить. Хаджанов каялся, что днем, когда по заблаговременной заявке приходят отдыхающие, ему приходится давать и ребячьи винтовки, ведь в тире всего пять стволов, ну, и неумелые мужики, хоть почти всегда офицеры, тут же прицелы сбивали, стреляли безобразно плохо, все напирая на несерьезность оружия, мол, привыкли к “калашам” или, на худой конец, карабинам, а здесь, видите ли, детские хлопнушки. По мишеням мазали, дупили “в молоко”, а это значит, вообще владели оружием кое-как.

Так что по вечерам, когда ребята появлялись на тренировке, начинать едва ли не всякий раз приходилось с пристрелки, с возвращения мелкашкам их спортивной точности.

Месяца через три Борис стал выбивать из положения лежа около 90 очков, стоя — твердых 60 и с колена 70. В общей сложности 220. Но дальше дело не двигалось, и Хаджанов начал причитать, что теперь из такого старья, конечно, не стреляют, что нужны винтовки иностранного производства, с особым прикладом, но настоящая спортивная винтовка стоит дорого, да и пока ему неизвестно, где можно купить такую тонкую и ценную вещь, почти музыкальный инструмент.

— Слыхали, — спрашивал он, — про скрипку Страдивари — это такой старинный мастер?

Они не слыхали. Тогда он кивал, соглашаясь сам с собой:

— Бесценная вещь. Так же и хорошее оружие!

К тому времени городок Краснополянск неожиданно начал оживать. Закрытое производство “калашей” планировалось восстановить, потому что государство вроде получило небывалый заказ из-за границы, и дело требовалось расширять. Откуда эти секретные сведения тут же становятся известными народу, неизвестно, но горевские мужики вдруг оживились, загалдели, принялись спрашивать друг у друга, кто из старых начальников возглавит это возрождение, к кому идти наниматься и сколько станут платить.

Среди этих обсуждателей оказался и Аксель. Школу он закончил почти как два года, мечтал податься на сторону, но дальше областного города не угреб, да и там на строительный факультет, самый вроде простой, не попал, потому как спрос на строителей вдруг взлетел до небес. Все, кто при деньгах, захотели строиться — дома и дачи вокруг вырастали словно грибы, и совсем неплохо доставалось мастерам-строителям, не говоря уж, наверное, про инженеров.

Во второй год Васек вообще никуда не поехал, шатался, повесив голову на впалую грудь, соглашался на любую, кроме физической, работу, но никто и никуда его не брал, принимая, наверное, в расчет гиблый вид, но откуда-то именно Аксель и принес первым весть о возобновлении “калашного” дела.

Хаджанов узнал эту новость от ребят, да и то в случайном разговоре.

— Доброе известие, — проговорил он и задумался. Пока ребята стреляли, звонил куда-то из своего кабинетика. Вышел оттуда, сияя зубами.

— Похоже, ребятки, — сказал радостно, — на недельку придется пре-

рвать тренировки. Вызывают наверх. Сперва в город, а потом, может, в Москву. Тир придется опломбировать, таков закон, понимаете?

Они понимали.

До чего же зеленой оказалась тоска!

Наверное, правильнее было бы заметить, что майор Хаджанов просто им отца подменял, и не абы какого, а внимательного, дружелюбного, деликатного. Ведь он ни в чем им не отказывал, с ним про всякое говорить хорошо было, даже про любые мальчишеские глупости — ни к чему он не относился снисходительно, как к мелочи, недостойной его взрослого внимания.

С ним было легко, ясно и четко. И он учил. Не только стрельбе, не только, прости Господи, как соловья поймать, — хоть и горько это закончилось, — он всему-превсему учил, чего от других, даже от матери, не дождешься.

И вот теперь — зелень полосатая! Тоска и скука!

Борис потолковал порознь с Головастиком и Акселератом: Витек готовился к призыву по осени, а у безработного Акселя только и разговору, что про хорошую зарплату на сборке этих самых “калашей”, там о здоровье его и осанке разговору нету, главное, зацепиться, быстренько слесарный разряд схватить, и — ништяк, жить можно. Три братца-погодка тоже уже не дети — один шире другого, все пока в школе, но и в магазинных полуприказачиках тоже: одеты хорошо, в карманах водятся полусотенки, сотенки тож, но в глазах тоска — что дальше, не видать.

Самый сумеречный возраст — пока не понял сам, чего тебе надобно.

И Бориска ведь из таких. Что делать, куда двигаться? Учиться дальше, неясно — где? Ведь выбор на всю жизнь. Инженеры теперь не шибко нужны, разве что строительные, дачи богатым клепать. А про что еще он думать мог? В педагогический, чтобы в школе потом жизнь мытарить? Не для него это, даже смешно: такой боец, и в школьные учителя? Медицина? Серьезное дело, но слаб внутренне, можно не выдержать — операций всяких и особенно чужой боли. Не подходит. Последнее и самое простое — плыть по течению, как Витька Головастик. Призовут в армию — и айда, а там видно будет. Это тоже серьезная вещь — подождать, пока житуха хоть малость обкатает, подучит, подрессирует. Вот тогда и пойдешь, куда поведет.

Не зря же есть такое дело — то ли ворожба, то ли искусство: ходят некоторые умельцы с лозой, попросту говоря, ивовой веткой. Ходят в местах жарких, а то и пустынных, эту лозу перед собой несут в свободной руке, не прижимают сильно. И вдруг лозинка эта начинает беспокойно шевелиться, двигаться. Значит, тут можно рыть колодец, и обязательно воду найдешь. Большая мудрость.

Опять же Хаджанов рассказал. И Боря запомнил. А теперь, в долгое майора отсутствие, все к себе прилагал, думал про себя: ну, живи себе, учись, призывайся, служи, вдруг твоя лозинка закачается — тому, значит, и быть, там и закопано твое призвание.

Там твой живоносный источник.

3

Без нужды ребята в санаторий не ходили. Только Бориска спрашивал мать каждый вечер:

— Не приехал?

Хаджанова все не было. И неделю. И другую. Потом мама явилась с выпученными глазами:

— У нас такой скандал!

Оказывается, вернулся майор, и не один, с ним бригада человек десять, он говорит, строители. И вот эту бригаду он разместил в тире. Взял со склада старые — давно списать пора — матрацы, положил их в ряд и, никого не спросив, устроил людей на ночевку. Однако кто-то настучал, прилетела милиция, оказывается, тир — это что-то вроде режимного заведения, подвал опечатали, Хаджанова с рабочими выгнали. Майор побежал по начальству.

В домике Горевых уже собирались спать, как в окно раздался стук —

громкий и непривычный, никто и никогда им в окно не стучал: брякали кольцом на воротах. В окно могли стучать только чужие.

Открыла мама, запричитала непонятно — с радостью и страхом. На пороге появился майор. И хотя зубы, как всегда, сияли даже в полумраке, речь его не была, по обычаю, четкой, да и выглядел он неуверенным, слегка подрастерявшимся.

— Я к вам как к друзьям! — говорил он торопливо. — Извините, у меня кроме ваших ребят здесь друзей нет. Знакомых — уйма, а друзья только вы. Ольга! Мальчики! Мне дали людей. Здесь славные дела намечаются, вот я и привез работников. День-другой, я их устрою, но подлые люди настучали! Пришлось отступить. Прошу Аллахом — позвольте переночевать. Одну ночь! Век не забуду!

Бабушка растерянно схватила за голову, ребята, наоборот, глядели с интересом, внутренне не только согласные, но и обрадованные: стало быть, не только они майору, но и он им доверял, надеялся на них, верил, что в трудную минуту может на них рассчитывать. Мама обернулась на бабушку, на ребят, улыбнулась как-то по-озорному и ахнула:

— Где же я места на десятерых-то найду?

Майор уже переменился, стал прежним:

— Об этом не волнуйтесь! Гляньте в окно!

Все, кроме бабушки, припали к стеклам, и, не сговариваясь, захохотали.

В сумерках, уже довольно густых, возле дома стояла немаленькая толпа мужиков разного роста. Лиц их разглядеть было нельзя, да и не требовалось. Просто у каждого на плече — свернутый матрац.

Хаджанов потом объяснил: списанные эти матрацы он занял в санатории. В санатории голову ломали, куда их девать: жечь — дыму много, бросить просто так — некуда, а на свалку везти — дорого; теперь ведь за все платить надо, за каждый пук.

Мама и бабушка насобирали старых одеял, пальто и зимних шуб, подкинули несколько старых подушек без наволочек. И десять мужиков разлеглись на своих матрацах во дворе, даже в дом не вошли — хорошо, что еще тепло.

Наутро, когда Борис и Глебка проснулись, мужчин уже не было. Так и не успели мальчишки их разглядеть.

Когда Боря пошел умываться, услышал приглушенный разговор матери и майора. Он о чем-то просил, просто уговаривал. А она изо всех сил, жарко, хотя и негромко, чтоб не разбудить ребят, отказывалась.

Борис толкнул дверь и увидел, что майор держит в одной руке толстую пачку денег, а другой протягивает маме несколько бумажек. Она качала головой, прятала руки за спину.

Хаджанов, заметив Бориса, не смутился, не испугался. Не спеша спрятал деньги в карман, улыбаясь, сказал:

— Какие же вы странные, русские. Бедные, а денег не берете.

А закончил удивленно:

— Прямо такие же, как мы! Бессребреники!

Мама молчала, оглядывалась на Бориса, а он не знал, что сказать. И вот тут-то майор сообщил им:

— А Борю я записал на соревнования. В областном городе. Подал заявку. Но это все ерунда, друг! Знаешь, что я тебе сейчас скажу: слушай сюда!

И произнес отдельными словами:

— Я — привез — настоящую — спортивную — винтовку! А к ней оптический — прицел!

4

С этого дня и началась настоящая Борина жизнь.

Будто майор Хаджанов не спортивную винтовку привез, а лозинку, и не успел Боря в руки ее взять, как она заволновалась, затрепыхалась, словно и не говорила, а кричала: копай свой колодец, он — здесь.

Никогда еще так не торопился Борис в своей жизни. Едва выпил чаю,

побежал следом за майором, думал, догонит, но не вышло. Еще и Глебка тормозил: то ему камушек в сандалету попал, то на вывеску загляделся, то заканочил, что жвачка кончилась.

Первый раз молча подумал про брата: не понимает, тормозит, тянет назад! Хоть бы отстал, что ли? Тут же мелко, как бабушка, перекрестился — больно уж плохо подумал, грех. А когда ворвался в тир, про все забыл!

Майор стоял спиной к ребятам, а в руках у него сияла масляным цветом и вправду похожая на скрипку легкая винтовочка. Даже на вид определялось, именно — легкая. Сверху — отливающая вороненой сталью надстройкой, сложный инструмент — оптический прицел.

Майор замирал, делал выстрел, быстро передвигал затвор, снова стрелял, будто торопился, и правда, когда закончил серию, глянул на часы.

— Ну-ка, молодцы! — крикнул, не оборачиваясь — узнал по шагам и несдержанному дыханию. — Притащите мишень! И начинаем механизацию этого процесса! Я уже договорился! — теперь он обернулся уже только к Боре, Глебка убежал вперед. — Будет механизм подачи мишени, представляешь! Недешево, но наш завод чего хочешь сделает! Только хорошенько заплати!

Он смеялся как никогда! И как никогда любил и уважал Бориска этого человека. Странно даже представить: было время, когда он не знал майора. Хаджанов Михаил Гордеевич жил где-то в других, неизвестных, невидимых краях, и не было ему никакого дела до двух мальчишек Горевых — Глебушки и его, Борьки. Как это вообще могло быть? И как бы все сложилось, если никогда бы они так и не встретились в этой жизни?

Майор медленно шел навстречу Борису и протягивал ему его скрипку. А что? Одни водят смычком, извлекая прекрасные нежные звуки, а другие... Что ж, разве это не умение, достойное мужчины?

Вернулся Глебка с мишенью Хаджанова: никогда раньше майор не стрелял так кучно! Часто говаривал: какой я стрелок, так, служащий тира, обслуга, и вот — на тебе!

Боря невольно восхитился:

— Ого! Это вам надо на соревнования!

Гордеевич то ли всхлипнул, то ли пропел, хохотнув:

— Отстрелял! Я свои! Хризантемы в саду!

Боря улыбнулся: слышал как-то этот цветочный романс.

— Сейчас твое время! — строго уже заявил майор. — Вот увидишь! Это твоя судьба, как солдат в строю, делает шаг вперед. Твоя. Понял?

Боря смеялся — разве спорят в такие минуты?

— Ну, бери! Заряжай... Целься...

Он взял винтовочку — желтенькую, легкую, словно поющую, заглянул в оптический прицел и сам едва не запел от восторга: оптика удивительно приблизила десятку, мушка застыла, он едва прикоснулся к спуску, как раздался хлопок. Посмотрел в прицел — пуля ушла на три часа, куда-то в район семерки. Причину он уже знал — слишком легок спуск, не ожидал. Второй выстрел был точнее: девятка, на те же три часа, сказал об этом Хаджанову, чуточку поправили прицел.

Оставшиеся восемь патронов изрешетили центр.

Когда оценили сумму, довольный майор задумчиво проговорил:

— Ну вот, есть у нас с тобой и скрипочка, дружок. Для твоего первого концерта. — Вздохнул. — Но соревнования-то проводятся с прицелом диоптрическим.

Рассказал, как еще по дороге в Москву зашел в областной спорткомитет, узнал, бывают ли тут соревнования по стрелковому спорту, встретился с каким-то дядькой. Выяснилось, что он отставной полковник, спец по стрелковому оружию и помогает этому комитету устраивать разные соревнования, бывает на них главным судьей.

Фамилия у полковника была смешная и ласковая — Скворушкин, да и сам он, утверждал Хаджанов, был ласковый и мягкий. Они зашли в кафешку, заказали по сто грамм поддельного коньячку, и Скворушкин с радостью обещал включить Бориса Горева на соревнования юниоров, которые будут

проходить в сентябре параллельно со взрослыми стрельбами. Даже записал фамилию, имя и отчество Бориски на обрывке газеты, сложил в бумажник. Да и выдвигает-то его серьезное заведение — районное отделение РОСТО, да и военный санаторий не какой-нибудь там любительский кружок.

После таких известий Борис стрелял по три раза в день: с утра, днем и под вечер. Делал до десяти серий за тренировку. Гильзы только летели. И не приходил ему на ум, уже взрослому парню, вопрос, откуда же деньги-то на патроны? Ведь он расстрелял их только в августе не сотни, а целые тысячи.

Хаджанов об этом даже не заикался. Для него, как казалось ребятам, все теперь сошлось на Борисе, а отдыхающие офицеры в штатском, порой заходившие небрежно поглядеть, вызвали плохо скрытое раздражение.

Как всегда, с неизменной улыбкой, провожая из тира кого-нибудь из них, он подмигивал ребятам и шепотом, смеясь, припечатывал:

— Тебя бы, теля, не командиром, а в детсад. В лучшем случае, воспитателем.

— А что это — теля? — спрашивал Глебушка.

— Не знаешь? — смеялся майор. — Да просто теленок!

Они хохотали хором. Иногда подсобрав троих-четверых таких вот “телят”, Хаджанов любил “макнуть их в шашлычный соус” — как деликатно он прибавлял.

— А теперь, товарищи офицеры, можно показать вам, что такое достойная стрельба?

Мужичков всегда это заводило, получалось, что они стреляли недостойно, но делать в санатории им было все равно нечего, так что они обычно с вызовом заявляли:

— Ну, ты тут живешь, похоже, в этом тире! Чего тебе не насобачиться!

— Я-то живу, — отвечал покладисто Хаджанов, — но покажу-то не я. А — вот! Мальчик!

Борис вставлял обойму, выпускал ее с предельно возможной скоростью, мишень подъезжала на специальных рельсиках, уже сделанных на тутошнем заводе, и офицеры разных родов войск всегда, без сбоев, бывали посрамлены.

Единственное, что им оставалось, это восхищаться винтовкой, просить, чтобы им тоже дали пострелять из такого забугорного винтаря — это-то, мол, и дурак сможет! Но тут начиналось главное. Настоящее шоу!

Хаджанов пояснял, что школьник Борис Горев действительно хороший стрелок, и его винтовку передавать никому нельзя, потому что он готовится к соревнованиям.

— Это как скрипка, понимаете, господа? Ее держит в руках только один исполнитель. Например, Паганини!

— Ну, Паганини! — усмехались уязвленные офицеры. А один так вовсе унизился: — Сравнил жопу с пальцем!

Но майор пропускал такие реплики мимо ушей, подступал к главному, выпускал на сцену Глебку, говорил:

— Но вот у нас еще один школьник. Совсем маленький, видите. Во второй класс ходит. И ему скрипка не положена. Он на обычной играет. Глебка! Стрельни!

И Глебка, правда, всегда из положения лежа, чтобы упор был, потому что детские руки еще слабы, прижимал к уху приклад обычной винтовки, разбрасывал ноги в сандаликах и палил, по-взрослому перебрасывая затвор, набирая, конечно, меньше, чем старший брат, но все же не хуже, чем эти взрослые дядьки в погонах.

— Ну, — говорили мужики, смягчаясь и сдаваясь, — если ты во втором классе так стреляешь, быть тебе снайпером! Или чемпионом!

В общем, выходило, что майор как бы воспитывал Бориным примером взрослых офицеров, а Глеб, когда они заводились, ссылаясь на спортивную винтовку, их приземлял окончательно.

Но однажды какой-то отдыхающий с неприветливым взором, поучаствовав в хаджановском представлении, чуть подзадержался, отстал от других, хлопнул Гордеича по плечу и сказал ему негромко, но твердо:

— А ведь давать оружие такому малышу, — он кивнул на Глебку, — против закона! Слышал об этом? Да и паренек твой, — он указал пальцем на Бориса, — тут находится на каком основании? У тебя есть лицензия на эту работу?

— О, конечно, товарищ прокурор! — воскликнул Гордеевич, хотя откуда видно, что прокурор.

И ухватив неприветливого мужчину под руку, повел в свой кабинетик, где висела в стеклянной рамочке и лицензия, и решение о создании юношеской спортивной школы при районном отделении РОСТО.

Хмурый, поглядев на рамочки, вышел из кабинетика умытым и перевернутым. Говорил на ходу:

— Это правильно! Это хорошо! Военно-патриотическое воспитание как-никак! Это у нас приветствуется.

Железная дверь в тир глухо ухнула, и можно было бы рассмеяться, но майор стоял, весь сжавшись, глядя отрешенным взглядом в пол. Какая-то новая, раньше невиданная и злая тень бродила по его лицу — даже не злость, а ненависть.

5

Август и начало сентября, кажется, слились для Бори в один непрерывный день. Даже еще однообразнее — в одну непрерывную стрельбу.

Может быть, потому, что он почти не выходил из тира, а жизнь наверху шла своим ходом, им не замечаемым. Глебка долго не выдерживал, маленький все-таки, и убегал, придумав для себя какие-нибудь неотложные хлопоты, но потом приходил опять, тоже тренировался. Изредка Боря спрашивал его:

— Ну что там, на улице?

Глебка перебирал всякую мальшовую ерунду — что он мог знать?

Боря вообще многое тогда как-то пропустил. Например, еще в августе Головастик спросил просто так, без всякого подбелдыка, скорее, любезно осведомился:

— Ну что, надрался вчера ваш майор?

Борис, как и Глебка, не понял.

— Да как же! — сказал Витек. — Вчера все десантники напились, телик-то смотрите? В Москве так вообще — в фонтанах тонули по пьяни. Вся милиция на бровях! День десантника... Пьют до полусмерти. В тельняшках да голубых беретах.

Борис, само собой, за майора вступился:

— Не все же алкаши!

— Алкаши не все, — легко согласился Витек, — но в этот день все десантники пьют. И, выходит, можно догадаться, десантник ты или нет!

Боря помотал головой, будто от комара отмахнулся, из головы эту мелочь выкинул.

Не очень большое значение придал он и событию довольно важному.

После той ночевки хаджановской бригады у них во дворе эти десять мужчин как бы рассыпались, будто стая комаров, когда дует ветер. Но на несколько дней всего лишь.

Хаджанов из тира по вечерам исчезал несколько раз, все в том же августе. Ребята оставались в тире одни, грешным делом Борис давал тогда пострелять из своей “скрипки” Глебушке, и у того получалось очень даже неплохо. Так что когда дядя Миша удалялся, строго-настроено наказав ребятам закрываться изнутри и никому не открывать, они, в общем-то, радовались.

Во-первых, прибавлялось немного свободы. И не какой там нибудь ерундовой детской самостоятельности, а свободы настоящей, вооруженной. И пусть она была ограничена этим тиром, этой железной дверью, и никуда они с этой своей вооруженной свободой выйти не могли, как-то само собой наваливалось на душу что-то новое, очень взрослое, непонятное и вовсе не легкое.

И не сразу, лишь постепенно отступало это ощущение. Проходило несколько десятков минут, они увлекались своим занятием, бесконечной

стрельбой — когда взгляд сосредотачиваешь на мишени, останавливаешь дыхание, когда наливаются металлом руки.

Если подумать, какое это удивительное занятие — приготовить тело, дух, мозг, даже принудить их к тому, чтобы соединить одним промельком, мгновением две точки — мушку и мишень. Сами по себе они почти ничто, но, обретая дух, силу, власть, переданные им человеком, они сливаются во что-то подобное совершенству.

Странному совершенству. Даже страшному, потому что только прикажи своей воле, и пуля полетит в избранную тобой, не обязательно бумажную, мишень. То, что зовется тренировкой — отвори только дверь! — станет опасным делом, наказанием кого-то, над кем-то насилием, болью, даже смертью! Какая же опасная власть может быть дарована им, Борису и Глебу, только направь их ум в кому-то нужную сторону. Только обучи. Только внуши. Подтолкни, сказав, что это надо...

Неосознанно, не вполне внятно, но чувство тяготы от собственного умения держать в руках вот эти легкомысленные и вроде неопасные мелкокалиберные винтовочки обладало какой-то самостоятельностью. Даже независимостью.

Но пока эта независимость сходилась в черный кругляш десятки на бумажной мишени. А мысль о живой цели, слава Богу, не приходила. Может, сказывалась муштра Хаджанова, ведь все, что касалось стрельбы, всякие, даже мелкие разговоры, простые реплики ни разу не выбирались за пределы тира. Кроме обсуждения возможных соревнований в областной столице.

Вечерние исчезновения майора между тем скоро закончились. Вернувшись однажды слегка подшофе, он радостно сообщил, что инцидент с милицией, опечатавшей было тир из-за какой-то глупости, окончательно замят и что он добился своего и купил дом и землю покойной Яковлевны.

Мальчишки поначалу не сразу сообразили, о чем он говорит. Первым очнулся Борис, напомнил Глебушке про корову Машку, которая мычала два дня, а ее вымя, истекающее молоком, лизали собаки.

Вся эта старая картина мигом выскочила из запасов памяти: и маленькие ободранные собачонки, стоящие на задних лапах под Машкиным выменем, и коровий стон, ее выпученный, налитый болью глаз, и уснувшая навсегда в своей постели старуха — такое не исчезает, не стирается.

Борис даже винтовку отложил — руки затряслись, едва вспомнил.

— А зачем? — спросил он майора.

— Дом построю! — весело ответил Хаджанов. — Хозяйство-то выморочное, наследников у бабушки не было. Если не я, так другой купил бы, какая разница?

Последнюю фразу добавил, взглядевшись в Бориса, в его переменившееся лицо. Потом перешел на интонации особенно доверительные, совершенно дружеские, такие Боря особенно ценил. Сказал:

— Помнишь бригаду, которая у вас ночевала? Это все мои родные... Не близкие, но мы все одного рода-племени, двоюродные там, четырехродные братья, дядя, зятя — сам черт ногу сломит.

При этом он внимательно следил за Борисом. Глядел, как тот становится внимательнее, расслабляется, как прежние мысли его отступают назад. И еще доверительнее становился голос Хаджанова.

— Ну, так вот... У каждого из них большая семья, понимаешь... Маленькие дети, иногда штук по пять-шесть, жены, старики, всем кушать хочется, а работы нет. Совсем никакой. Хоть иди разбойничать на большую дорогу. Некоторые идут. А я против. И написал им: приезжайте сюда, здесь завод опять запыхтел, будет работа, заработаем деньги. Не пропадут ваши семьи.

Теперь Борис уже вполне соглашался с покупкой домика и куска земли на горевской улице, хотя никто его и спрашивать не собирался. Раз она осиротела, эта избушка, оказалась, как сказал майор, выморочной... Пусть лучше дядя Миша, добрый человек майор Хаджанов, настоящий друг и учитель, ее купит, чем кто-то еще.

И ведь он ничего не скрывает. Сказал вдобавок:

— У нас родня трудолюбивая. Что хочешь сотворят. А дом новый еще до зимы построят.

6

В первые дни сентября, когда и сами учителя еще не пришли в себя от своих долгих отпусков, а уроки двигались с некоторыми послаблениями, не раз вслух и с учительским участием обсуждалось — что же дальше, в конце этого учебного года, в конце всей их школьной наивности?

Так бывало всякий раз, начиная, пожалуй, с девятого класса, и если прежде разговоры эти и выводы были слегка легкомысленны, — ведь все еще впереди, мало ли что случится, — то теперь в них все явственнее звучала тревога.

Все повзрослели, вот что. И почти все понимали свою обреченность.

Городок был беден, немощен, разговоры о восстановлении завода как будто переходили в дела, но о богатстве, о том, что чьи-то родители нашли деньги на платную учебу в институте, слышно не было, а техникум, то есть колледж... Ну да, в него-то проще было попасть, хотя зачем было учиться до одиннадцатого класса, ведь и после девятого можно?

Ребята спрашивали учителей, точнее, учительниц: но чему можно выучиться в колледже всего-то за один год? В ответ они пожимали плечами. Одна только Раиса Степановна, классная в Борином классе, предполагала:

— Наверное, на заводе доучат?

А если на завод не пойдешь — или не попадешь? И тут все умолкали. А потом вдруг, как лучший ответ молодости новых лет, звучал бесшабашный клич:

— Кто идет за “клинским”?

И хохот, оживление, будто бы освобождающие от нелегких дум о будущем...

И вот тут Борис стал отрываться от школьной стаи. Однажды майор встретил его восторженным воплем:

— Завтра едем! Все! Готовь обмундирование!

Душа Бориса затрепыхалась, он пролепетал:

— А школа?

Хаджанов даже на секунду не задумался:

— Сейчас схожу, договорюсь, а ты не забудь: нужен паспорт.

Утром они выехали чуть свет, майор даже машину выхлопотал у начсанатория. Боря не выпускал из рук винтарь, упакованный по бедности в чехол для удочек; в багажнике, он знал, был чемоданчик с патронами и вещмешок майора со всяким полезным барахлом.

Городской тир был вообще-то местом не вполне городским и не очень открытым и находился на территории бывшего вертолетного училища. Его расформировали, и полуразрушенный курсантский городок напоминал обиталище отступившего войска: многие окна в казармах выбиты, тут и там сновали одичавшие беспородные собачонки, размножившиеся без присмотра в неимоверном числе. На улице воняло чем-то кислым — может, заело канализацию. А флажки, жалко трепыхавшиеся над одним из корпусов, в подвале которого и располагался тир, лишь подчеркивали бедную третьеразрядность предстоящих соревнований.

Хаджанов сразу заметил полковника Скворушкина — тот стоял в группе из трех-четырех не очень ухоженных мужиков. Впрочем, ходить мохнорылым, с пятидневной щетиной, нынче в моде, так что поди угадай — может, это знаменитые чемпионы?

Майор ринулся вперед, вежливо, но решительно раздвинул окружение полковника. Кстати, ничем полковничьим Скворушкин не отличался: серый мятый пиджак, голубая сорочка, — в общем, просто высокий и седоволосый пожилой человек, правда, начисто выбритый и пахнущий одеколоном.

— Вот, привез, товарищ полковник!

— Чего привез? — не понял тот.

— Своего выученика. Представителя санатория.

— Какого санатория? — старик, похоже, ничего не понимал.

— Да минобороновского! — тихо наливался злостью Хаджанов. — Краснополянского. Мы же с вами встречались! Говорили! Я вам про мальчика рассказывал!

— Так бы и говорил! — возрадовался Скворушкин, вспомнив, наконец. — Я даже где-то записывал. — Он хлопал себя по карманам. Потом негромко матюгнулся. — Я же в другом костюме!

— В другом! — подтвердил майор. — Но Горева-то вы в списки внесли?

— Внес, внес, — успокоил Скворушкин и потащил майора за рукав в сторону от лишних ушей. Потом, уже один на один, тихо и покаянно проговорил: — Конечно, не внес. Всё забыл!

— Ка-ак же так, товарищ полковник, — чуть не взвыл Хаджанов, — мы же... Я же!

— Ничего, ничего! — хлопал крыльями старый ворон. — Сейчас поправим! Еще не поздно. Все же здесь я главный судья. У тебя бумага какая-никакая есть? Нужна заявка! Справка медицинская! Заплатить надо — за участие!

И вот тут Боря увидел Хаджанова в действии. Опять восхитился им — его четкостью, предусмотрительностью, жесткой и точной хваткой.

Ни слова не говоря, майор выхватил у Бори из рук чемоданчик с патронами, вынул из-под крышки плотную папочку, раскрыл ее. В ней лежали чистые бланки, с печатями. И медицинская справка — тоже!

— Сойдет? — спросил полковника.

— По всем правилам!

— Ничего, что от руки? Диктуйте!

Скворушкин продиктовал слова, облегченно затягиваясь сигаретой. Бумаги потребовались даже две. Одна — потому что Борис участвовал в соревнованиях для юношей. Вторая, на всякий случай, заявка на участие во взрослой стрельбе.

— Это как получится, — говорил Скворушкин. — Уж не обессудьте. Но скорей всего получится. Потому что мало, ох, мало участников. Пулевая стрельба угасает. Можно сказать, умирает! Некому стрелять, потому что стрелять негде, понимаешь, майор? Тиров и было-то здесь немного — три, четыре. Так теперь сдали под склады! Склад — знаешь, сколько торгашам приносит? Не миллионы, так сотни тысяч! А тир? Стрельба эта? Час стреляют — месяц простой.

И Скворушкин огорченно мотал головой, печалился, сыпал сигаретный пепел на рукава не нового пиджака.

Наконец Скворушкин поглядел на Борю. Дошла очередь. Спросил:

— Ну, и чего же ты хочешь?

Боря уже давно обдумывал, как вступит в разговор, и показал хаджановскую выучку. Встал по стойке смирно, точнее, просто подобрался, подтянулся, улыбнулся во все тридцать два зуба и вежливо, с оттенком вкрадчивости, спросил:

— Простите, как ваше имя-отчество, товарищ полковник?

Тот даже глаза вытаращил:

— Павел Николаевич!

— Павел Николаевич, — не переставая улыбаться, четко проговорил Боря. — Я хочу всерьез заниматься пулевой стрельбой. Меня тренирует майор Хаджанов Михаил Гордеевич, но я приму любые ваши указания.

Скворушкин даже всхлипнул от удовольствия.

— Ишь ты, какой вежливый! Ты по какому уставу обучен? У тебя что, военные в семье?

— Нет, — помог Боре майор, — он сын полка. Нашего, санаторского! Министерства обороны Российской Федерации!

Скворушкин помотал головой, обнял их обоих за плечи, и они двинулись к обтерханному зданию, внутри которого, на некоторой глубине, таился не новый тир, нуждавшийся в сильном ремонте, но достаточно освещенный и, сразу видно, обстрелянный и профессиональный, на семь мишеней. При этом оказалось, что они умеют и поворачиваться для скорострельных упражнений, и двигаться — для стрельбы по движущейся цели. В хозяйстве Хаджанова такого не было, и он цокал языком, озирался, громко восхищался, вообще очень быстро освоился, располагая еще минуту назад незнакомых мужчин

своей улыбкой, четкой и подчеркнута правильной речью и абсолютной вежливостью, которая никогда не забывает слов “пожалуйста”, “будьте так добры”, “будьте любезны”, “я вас благодарю” — и тому подобных бесплатных, но таких полезных выражений.

Через полчаса Хаджанов был со всеми знаком, оказываясь уже чуть ли не представителем Минобороны, — слово “санаторий” как-то не усиливалось, а, напротив, угасало, хотя и произносилось. А через час он уже был любимцем публики — от стрелков до судей. И еще через час настал миг его тренерского триумфа.

7

Борис странно чувствовал себя. Прошлым вечером, когда Хаджанов сказал ему, что директор школы спокойно дал согласие на двухдневное Борино отсутствие и окончательно уверившись, что едет, он сообщил об этом маме, бабушке и Глебке.

Как и следовало ожидать, Глебушка стал подвывать — нет, не то чтобы реветь, а просто так, и радуясь за брата, и горюя, что не станет свидетелем его успеха. Мама шутливо шлепнула его, а сама захлопотала: мол, надо какую-нибудь еду захватить. Боря возразил: мол, брось ты, мама, там накопчат, майор говорил.

И отключился. Это у него получалось.

Когда майор учил его стрельбе, то советовал простые команды самому себе отдавать. Например, лежишь и перед тобой цель: нельзя просто целиться и стрелять. Следует собраться, выцелить, остановить дыхание, то есть замереть, нажать спуск, расслабиться — всем телом, на короткое мгновение, потом снова собраться, выцелить, замереть, выстрелить...

За многие дни стрельбы — а он же не просто так все-таки палил, а до упражнения МВ-6 дошел, настоящего, мужицкого, олимпийского, где много сил требуется, — Боря вытренировал в себе не только терпение, но и нелегкое умение управлять собой.

Ведь МВ-6 — это сорок выстрелов лежа и час времени на стрельбу, сорок — стоя, еще час, и сорок с колена — час с четвертью по государственным правилам. Три пятнадцать только стрельбы, а с пристрелкой да перерывами? Почти рабочий день. Борис в шутку думал даже, ни с кем это не обсуждая, что прикажи он себе между такими сериями закрыть глаза и заснуть, у него бы это запросто получилось.

Впрочем, может, получилось бы от усталости?

Он так не считал. Был уверен: умеет собой управлять, обучился воловьему терпению, и что ни прикажет себе, все выполнить в состоянии.

Вот и вчера с вечера он приказал себе: отключиться от всего, ни на что не реагировать, экономить себя только для стрельбы. Его даже забывчивость полковника Скворушкина из себя не вывела. Будто знал: все закончится как надо.

На старт он шел спокойно, не озираясь по сторонам, получая по жребью линию стрельбы, почти равнодушно выслушивая судейские предупреждения.

Начиналось все с соревнований юношеских. Участников оказалось только семь, на один поток, рубеж установили в 25 метров, упражнение элементарное — 10 выстрелов из положения лежа.

Обозначили: это упражнение МВ-2. Те, кто серию произведет успешно, получают, с зачетом этого результата, еще 20 патронов, и исполняют упражнение МВ-8, где, при хорошей стрельбе, можно выполнить норму II, I разрядов и даже норму кандидата в мастера спорта.

Всякий раз, когда на домашних тренировках Хаджанов заводил с Борей речь о всяких там разрядах, он в общем-то отмахивался, стесняясь таких обсуждений. Он даже толком не знал, сколько и для какого разряда надо выбить очков, главная цель, о которой и Хаджанов всегда хлопотал, — все десять пуль вложить в пятисантиметровый центр мишени. Девятка, это уже минус очко, восьмерка — минус два. Вот что его задевало — минусы. А точное попадание — просто норма, и радоваться тут нечему.

Когда Боря шел на старт, он уже ничего не видел, в том числе и жалостливых на себе взглядов. Ведь он нес в руке рыбацкий, несурзанный какой-то чехол, и что там могло храниться, у этого паренька из занюханного Краснополянска?

Но когда достал из чехла легкую свою “скрипочку” немецкого происхождения, свой спортивный “шмайсер”, с диоптрическим, по правилам, прицелом, в негустой толпе наблюдателей пронесся негромкий и недолгий шорох. Не видел он и удивленных взглядов, обращенных уже не на него, а на майора — пробойный, видать, мужик, недаром от Минобороны.

Свою десятку Борис отстрелял быстро и уверенно. Знал, что в районе 98, не меньше.

Лежал с закрытыми глазами, глядя, когда стрельбу закончат остальные. Быстро сменили мишени, подошел линейный судья, положил коробочку с патронами, сказал:

— Вам разрешается МВ-8, еще двадцать выстрелов! — и шепнул: — Ты уже чемпион!

Но Боря был давно закрыт своим прозрачным козырьком, не ответил, даже не кивнул. Краем глаза отметил, что большинство ребят стрельбу продолжают, но кто-то уже поднимается, собирает манатки. Двое или трое.

Мишень сменили еще раз, после второй десятки. О результате не сказали, просто дали команду на продолжение. И он что-то стал путаться: то ли две, то ли три получалось девятки. Дрогнул. Сбилась дыхание, как ни велел себе успокоиться. И вышло — сам знал — три минуса.

Стрельба завершилась, участники поднялись по команде, забрали оружие, вышли к тренерам. Какое-то время ушло на подсчет. Потом Скворушкин взял в руки допотопный мегафон. Долго щелкал, повторял на пробу — “раз, два!” — наконец, объявил:

— По итогам юношеской части соревнований победу в упражнении МВ-1 одержал Борис Горев (Краснополянск) с результатом 98 очков, что превышает второй взрослый разряд.

Послышались хлопки, Борис тоже пару раз свел ладоши, не очень-то поняв, что это про него.

А Скворушкин говорил дальше.

— Упражнение МВ-1 было продолжено до уровня упражнения МВ-8. Победу опять одержал Борис Горев, ученик одиннадцатого класса. Общая сумма 293 очка, что соответствует нормативу кандидата в мастера спорта.

Тут уже захлопали пошумнее.

— Таким образом, Борис Горев объявляется дважды чемпионом области в стрельбе для юношей. Вручение дипломов на торжественной церемонии — в конце соревнований.

Хаджанов рядом только что не подпрыгивал. А как он восклицал и охал! К нему подошли двое незнакомых Борису мужчин и не столько поздравляли, сколько восхищались “шмайсером” да выспрашивали цену — где и за сколько купил.

— Не знаю, — валял дурака майор, — это мне из Минобороны прислали! У них там свои поставки!

Один оказался понастырнее, спросил:

— А ведь в накладной-то цена указывалась?

— Может быть, — хитрил Хаджанов, — а я и внимания не обратил, дали, да и все тут! Это ведь бухгалтерские дела...

Скворушкин объявил в хрипевший мегафон, что начинаются соревнования мужчин, а упражнение все то же МВ-8, тридцать выстрелов, на 25 метров.

— Хочу пояснить, — сказал он, — что правилами разрешается соединять результаты юношеских стрельб со взрослыми. Приглашаются на старт...

Взрослых стрелцов оказалось ненамного больше, чем юношей, всего шестнадцать. Майор и Боря сначала толкались среди зрителей, но с дальнего расстояния результаты не видны, а электронными табло, как объяснили какие-то подходившие люди, тир оборудовать невозможно — слишком дорого, да к тому же и невыгодно, ведь соревнования устраиваются редко.

В общем, много было всяких разговоров о нелегкой доле пулевой стрельбы, уж очень она оказалась непрактичной, не то что стендовая. О! Там палат из охотничьих ружей богатые местные люди, кичатся своими игрушками, которые безумно дороги, да и патроны там — не то что для мелкашки. Плюс на стенде настоящий клуб для тутошних олигархов, ресторан, девочки и все прочее. Подвыпьют и палат, выставляясь друг перед другом до поздней ночи — там и прожектора, и музыка, в общем, шоу.

Пулевики, выходило, были стрелковым пролетариатом, бедняками, забытыми и жизнью, и властью, а аристократия обреталась при ружьях охотничьих и при стенде со всеми удовольствиями для жирных.

Это все обсуждалось уже на улице, куда выбирались зрители, освободившиеся стрелки и их тренеры. Почти все курили и все до одного жаловались на судьбу.

Хаджанов и Борис не курили и не жаловались, были совсем неизвестными тут людьми, и время от времени к ним обращались надежды стрелков. Майора спрашивали:

— Ну, как там Минобороны? Когда соревнования военного округа? Почему молодежь не занимаются? Кто служить-то в армии будет — одни неумехи?

— Почему неумехи? — удивлялся Хаджанов. — Вот вам один из них!

— Один в поле не воин! Но молодец!

Вышел из тира какой-то замызганный мужичок, сразу подошел к ним, сказал Борису, разминая дешевую папироску:

— Поздравляю. Тебе вроде светит призовое место и во взрослом зачете.

Хаджанов на радостях стал обнимать захудалого мужичонку, хлопать его по плечу. Ему объяснили, когда тот отошел:

— Это мастер спорта международного класса. Судья первой категории. Заместитель Скворушкина. Хороший был стрелок...

— Почему — был? — удивился майор. — Стрелок, он навеки стрелок. Как соловей — всегда поет.

— Ты прав, — усмехнулся в ответ объяснявший. — Только знаешь, в чем разница между стрелком и соловьем?

— Нет!

— Соловей поёт, а не пьёт! — и щелкнул себя по горлу.

Еще часто поминали какого-то Ершова. Говорили: “Результаты низкие! Вот Ершова нет! Он бы показал!”

Потом кто-то сказал:

— Он нервы бережет. Завтра наверняка явится. Завтра ведь шестерка и девятка. А к вечеру вообще одиннадцатый номер.

Боря знал, что шестерка — это МВ-6, трехчасовая девятка — МВ-9, шестьдесят выстрелов лежа. Одиннадцатый же номер — две серии из двадцати выстрелов по движущейся цели — одна будет двигаться медленно, другая быстро. Он такого не умел. Даже никогда не видел, как это делается.

Выходит, первый день был для организаторов не самым главным, немножко народным. Где-то часам к четырем все закончилось, из подвала выбрался Скворушкин, потянулся, освобожденно матюгнулся и радостно закурил. Видать, это было для него тяжелое испытание — столько часов подряд, без курева-то.

Обменявшись короткими репликами с множеством взрослых, добрался до краснополянской команды: один стрелок и один тренер. Сказал, обращаясь к майору:

— Ну, ты удивил! Как же ты его тренировал? По программе ДЮСШ?

— По программе собственного наития, товарищ полковник. Плюс физические упражнения. Плюс один ученик, — расплылся в улыбке Хаджанов.

— Всего один? — удивился Павел Николаевич.

— Точнее полтора! У него еще маленький братишка, во втором классе.

Скворушкин рассмеялся, сказал, что малышу сподручнее было бы ружье пневматическое, покачал головой, поудивлялся, что какой-то там малыш палит из мелкокалиберки.

— Ну, куда вы теперь? — спросил, оглядывая опустевший двор, где бродили голодные собаки. Заметил: — Вот власть предлагает нам собачат этих

перестрелять, да ведь рука не поднимается. Грязное дело — стрелкам, можно сказать, профессионалам, такой грех на душу брать. — Вскинулся на Хаджанова. — А ты бы не взялся?

— Да чего тут, — бойко ответил майор. Но тут же осекся: — Зачем мне это?

— Денег заработать, зачем... Теперь за деньги все на всё готовы... Но вот стрелки собачат отстреливать отказались. Все как один. Да и какие там деньги?

Спросил опять:

— Ну, что вы теперь? Домой? Ведь завтра уже вручение.

Хаджанов ответил, что машину ему давали только сюда доехать, возвращаться надо на автобусе, Борю растрясет, ведь завтра же опять старты, да и поутру — достанет ли машину, неизвестно.

— А какая завтра у него стрельба? — удивился Скворушкин. — Юноши закончили, он областной чемпион, кстати, поздравляю!

— Ка-ак, товарищ Скворушкин! — воскликнул майор. — Павел Николаевич! А МВ-6? Он же готов для серьезной стрельбы!

— Так это ж для мужиков. Для совсем взрослых! Три часа! А ты что — можешь? Стрелял?

Теперь он спрашивал только Бориса.

— Многократно! — ответил Боря, опять улыбаясь во все свои ослепительные зубы.

— И многодневно! — подтвердил Гордеевич. — Уж поверьте! — И убедил: — Он же единственный серьезный стрелок на весь наш тир! Стреляет у меня день и ночь!

— Но, но, — поправил Скворушкин, — если стрелок ночью не спит, утром не метко стреляет!

Они отправились со двора втроем, дошли до автобусной остановки и все обсуждали, как же получится у Бори такая взрослая стрельба. Скворушкин больше улыбался, чем хмурился. Потом снова спросил:

— Ну, так вы куда?

— Искать гостиницу. Или какой дом колхозника. Если, конечно, еще колхозники остались.

— С оружием-то? — удивился тот. И вдруг предложил: — А давайте-ка ко мне. Все мои на даче, я один, айда! Не оставлять же вас на улице!

Немаленький ведь чин был у Скворушкина, все-таки полковник, а квартирёшка оказалась у него убогая, хоть и двухкомнатная, в блочном, облупленном старом доме. Взрослые шустро принялись готовить ужин, ведь Хаджанов по дороге заскочил в магазин и набрал там всяких банок — вот они теперь, в раскрытом виде, громоздились на столе, придвинутом к дивану в комнатке побольше — в зале, по определению майора.

— Да уж, в зале! — усмехался Скворушкин. — Эту-то едва выбили, служил я не здесь, ясное дело, а в группе войск, в ГДР — где теперь эта группа войск, где эта ГДР? Стыдно сказать, уезжали — почти бежали. Точно какое-то безумное отступление! Кутузов бы от сраму помер. Ну, и всех рассовывали по разным карманам — меня сюда.

Он мотал головой, матюгался, не обращая внимания на Борю, а вернее ровняя его к себе, раз уж он стрелок. А стрельба — дело мужское, значит, привыкай ко всему мужицкому, если еще не привык.

Потом они допоздна сидели, полковник смолил старинный, давно вышедший из моды “Беломор” и рассказывал про свою жизнь, перемежая отступлениями о нынешней стрельбе.

Когда старшие стали говорить о завтрашних соревнованиях, Борис старался все запомнить, но ничего особенного полковник так и не сказал, кроме разве пояснения про Ершова.

— Это совсем молодой парень, всего-то старлей, недавно закончил общевоинское училище, сунули сюда, на собачью работу, замначкомандатуры, рвется на перевод, но потерпеть надо, первое назначение отстучать “от” и “до”. Вот он на стрельбу и налег. Мастером спорта стал еще в училище, теперь, похоже, через стрельбу и хочет убраться. Как? Да выиграть сперва на-

до округ, потом попадет на всероссийские. А там выиграешь — заберут в ЦСКА. Они всемогущи!

Вдоль одной стены, противоположной от балкона, до потолка высились застекленные книжные полки. Между ними была подставка, на ней освещенный аквариум, в нем медленно плавали красивые красные рыбки. По полу бегал маленький котенок — смешно изгибался, ложился на спину, подставляя брюшко Боре, потом цеплялся за рукав или вспрыгивал на спинку дивана и носился там, будто радуясь этому скромному мужскому застолью.

— Ну, хорошо, — встала наговорившись с Хаджановым, обратился полковник к Борису, — ты все-таки выдержишь завтра трехчасовую стрельбу? Все же — сто двадцать выстрелов!

Боря небрежно пожал плечами.

— Стрелял много, — ответил, — но один на один. Не на соревнованиях.

— Ты хоть сегодня и удивил, — задумчиво сказал Скворушкин, — и даже порадовал... Но должен знать, что все это, — он обвел руками комнату, хотя, конечно, имел в виду другое, — теперь совсем все иначе, понимаешь! Стрельба как спорт, это — ох, как непросто! На тебя должны глаз положить. И не такие, как я. Протащить, выставить, оснастить, помочь. Но никакой и ни в чем гарантии не будет, знай это. Провалишься — и выкинут, в лицо не узнают. Спорт теперь — это профессия, большие деньги, даже политика, вышел в тираж или просто сломался — гуляй, Вася.

Полковник помолчал, глотнул своего вонючего “Беломора” и продолжил разговор:

— Стрелять умеешь, кандидата в мастера выбил — иди по военной стезе, поступи в училище, надевай погоны. А то в солдаты забреют — не слаще. И там, и сям дерьма, конечно, хлебнуть придется. Но одно дело два года отслужить рядовым, — да еще и под пули есть шанс попасть, — и совсем другое через пять лет звездочки, хоть и маленькие, нацепить. Ну, а в Краснополянке своем дудеть — велика радость? Кем? За какие гроши? С каким образованием?

Этот Скворушкин за три минуты всю будущую Борискину жизнь разобрал и по полочкам разложил. Все ему понятно было как дважды два. Не зря говорят: чужую беду — руками разведу, а свою...

Борис внимал каждому слову. Глядел на Скворушкина не мигая. Непонятно было, чего добивается этот дородный старый полковник с пухом седых волос на голове?

Скорее ничего не добивается, просто рассуждает вслух и скорее про себя, чем про Борю, но выходило так, что он, новый человек, по чудесной случайности обучившийся неплохо стрелять, никому, в сущности, не нужен, и никто ему никакого места не приготовил в этой смутной, неизвестно к чему движущейся жизни.

Не думал он об этом раньше? Думал, и не раз! И все ребята рядом — тоже думали. Но вот сейчас будущее перед ним распахнул человек чужой, многое повидавший и, в общем, по-доброму настроенный. От всего от этого слова полковничьи как-то особенно тяжело слышались, будто были окончательными, как судебный приговор.

Взрослые еще долго говорили, приглушая голоса, и до него доносились обрывки слов, из которых понять было можно, что оба печалются о своем житье-бытье, горюют о Советском Союзе, когда жить было дружно и нестращно и никто не думал о том, как сложится все дальше.

— Всю жизнь жалел, — проговорил громко Скворушкин, — что у меня нет детей. А теперь вот радуюсь! Страшно за них!

8

Ох, как же прихотливо вяжет свои узелки судьба! Сколько всякого свалится на Борю чуть позже — и радостного, и горького, — а эту полусонную ночь на чужой постели в случайном доме почти случайно встреченного полковника, словами своими не только предсказавшего, но почти скроившего,

как умелый портняжка, Борину судьбу, он долгие годы будет считать чуть ли не главным перекрестком своей судьбы.

Наутро Борис ощутил внутри себя глухое, неожиданное волнение, которое никак не удавалось защитить незримым тайным козырьком. Потом все промелькнуло, как в ускоренной киносъемке: и Ершов, веселый пижонистый парень, самоуверенный везунчик — он выбил тысячу сто семьдесят очков из тысячи двухсот, подтвердив норму мастера спорта международного класса; полный, на удивление публики, Борин провал, не набравшего и тысячи очков, хотя он был единственный стрелок юношеского возраста, за что ему полагался диплом и звание чемпиона области, и церемония награждения, где ему помогал стоявший позади Хаджанов, который принял целых три диплома и три же дешевеньких кубка, которые свободно продаются даже в их краснополянском магазине, торгующем сувенирами...

Потом — ликование и восторг, с которым Глебушка встретил чемпиона. Но даже это не вывело Боря из какого-то нового, очень странного напряжения, вполне при этом полусонного, хотя Глебкина радость — он это знал — была совершенно искренняя и беззаветная.

Школа тоже встречала восторженно. В класс нарочно пришел директор перед началом уроков, чтобы поздравить Бориса публично, вручил ему толстую книгу, конечно, о видах оружия, правда, всякого, включая танки и пушки.

На Боря поглядывали, улыбаясь, и прохожие, а районная газетка вскоре напечатала его большой портрет на самой первой странице.

Он не противился ничему. С терпением переносил славу, а она, эта слава, спасибо ей, несла его вперед своей ласковой и широкой дланью.

Однажды его вызвали в военкомат. Боря сказал об этом Хаджанову, и тот сразу сообразил, что Бориса надо сопроводить — ведь вызывали не повесткой по месту жительства, а телефонным звонком директору школы. Так что не вызывали, скорее — приглашали.

Свершилось то, что Боря тайно предполагал. Ему предложили поступить в военное училище. На выбор — в общевойсковое, десантное и даже военно-морское.

Майор, представившийся тренером и усаженный с почетом за приставной столик райвоенкома, светился как начищенный самовар — есть такое выражение.

Военком, тоже майор, сразу сообщил, что Борины успехи в районе известны, и не только в районе, потому что ему позвонил даже облвоенком и предоставил квоты: пусть выбирает, талантливый мальчик!

Квоты, как разъяснил военком, вроде такая бронь, специальные места, куда, хотя экзамены сдавать и придется, но обязательно зачислят. Внеконкурсное преимущество. Ясно, что кандидаты в мастера среди призывников, да еще и по стрельбе, на дороге не валяются.

Хаджанов сиял, попутно сообщив, что Борис — первый выпускник детско-юношеской спортшколы со специализацией по стрельбе, и попросил денёк-другой на размышления.

Но первый раз Борис с Хаджановым не согласился:

— А чего раздумывать? — сказал он. — Я выбираю десантное.

Часть третья

ЛЕТО СВОБОДЫ

1

И Глебушка остался один.

Нет, не сразу уехал, отдалился Бориска, немало недель еще ушло, полных больших и малых хлопот, в общем-то радостных и уж, во всяком слу-

чае, совершенно новых и небывалых для синего домика на краю городка. Но Глебка всегда знал и точно чувствовал: он рухнул с обрыва в тот самый день, когда старший брат вернулся из военкомата.

Что-то такое с ним враз случилось. Он даже улыбаться стал совсем взрослому, по-мужичьи: сдержанно, лишь уголками губ, будто боясь обнажить зубы. И говорил, по-мужичьи расставляя слова — без всякой детской скороговорки, когда половина произнесенного теряется по дороге, а все равно понятно, про что ты толкуешь, захлебываясь от радости или, допустим, от горя.

Нет. Боря словно уже ушел.

Надо же! Вот он, тут, на лавке, сидит прямо, по-новому напряженно, совсем не так, как в детстве, не развалюсь, а строго выпрямив спину, говорит не торопясь, улыбается краешками губ, но смотрит уже мимо, в какую-то незнаемую даль, где другие улицы, иные дома, а главное, совершенно новые люди — может, потому он и говорит-то так сдержанно, словно общается с другими людьми, а не с ним, Глебкой, и не с мамой, не с бабушкой...

Вот ведь как получается: он вроде здесь, а его уже нет. Он говорит тебе, но слова, по его странному желанию, предназначены другим.

И для Глебки это — обрыв... Брат ушел, удалился, он уже ходит, дышит, говорит там, в невидимом отсюда городе, где находится это десантное училище — его новая жизнь и судьба.

Глебку утешали, особенно бабушка. Наверное, она лучше всех поняла его и согласилась с ним, а он, точно околдованный, не утихал, плакал, убегая из избы, не мог себя одолеть, и тогда Борису пришлось подойти к младшему, расцепить жесткие свои губы и белые свои молодые зубы приоткрыть, сказав при этом совсем не детское и твердое, что и могло единственно утешить:

— Но ведь ты сам этого хотел!

Хотел — не хотел, но не детский и не взрослый, скорее — животный, утробный какой-то рев рвался, поднимался из Глебкиного нутра, с самого доньшка его существа, будто мнилось ему в Борисовом отъезде какое-то грозное предсказание или предупреждение, которого ни он сам, и никто другой, распознать, услышать и понять совершенно не мог. Все удивились, все обеспокоились, но как только Глебка все-таки утих, тотчас об этом забыли. Так всегда и бывает — не понимаем мы вещей предсказаний. Но ведь незнание того, что с тобой случится в будущем, и есть не что иное, как тайная и спасительная благодать. Знай мы все наперед, что с нами произойдет — остановилась бы, наверное, жизнь...

Однако предчувствия дарованы нам как высшее предупреждение. Надо только еще уметь отличать предчувствия от обид, боли и всего другого, что тоже вызывает слезы. Но то слезы облегчения. Эти же — предчувствие грядущего.

2

Так что Глебка первым испытал это предупреждение, отревел горько и даже по-своему страшно, но когда настала пора действительного прощания, он только беспомощно улыбался старшему брату.

Тот же отгулял выпускной, вызывая зависть окружающих, — пожалуй, он единственный из всех мальчишек твердо знал, что будет с ним дальше, да к тому же оказался уже овеян ранней славой меткого стрелка, этакое Тили Уленшигеля, который в яблоко, поставленное на голову человека, попадал без всяких сомнений, и был не просто призван в военное училище, но и обласкан не ощутимой из детства казенной властью, которая, хочешь — не хочешь, вершит жизнью.

Не забыл Бориска распить прощальную “чекушечку”, кока-колой, правда, разбавленную, на исторических, давно пересохших бревнышках вместе с товарищами по детству, теперь сильно изменившимися внешне, но в душе — все теми же ребятами, с повадками, оставшимися от прошлого.

Витка Головастик раздался в плечах, кули мучные мог бы играючи грузить, отпустил усы — не усы, правда, а усишки, как у монгола — жидень-

кие, хоть и длинные, свисающие прямо на рот. Васька Аксель, все никак не идущий вширь, но растущий по-прежнему в высоту, окончательно подтянулся к двум метрам, однако все еще был слаб — не поспевала мускулатура за костью, может быть, все-таки действительно по причине никудышной, слабой и не по-настоящему мужской, без обилия мяса, еды. Но теперь он чаще улыбался, потому как прочно закрепился на ожившем заводе: что-то там обрабатывал для “калашей” и получал не просто сносную, но вполне даже приличную зарплату.

Однако заметнее других переменялись сероглазые погодки. Петя, Федя и Ефим были в похожих и недешевых джинсах, ведь мода на них не проходит никогда, одеты все в приличные куртки с яркими лейблами известных фирм. И хотя все знали, что денежки у них водились, и всяких там лизучек-сластюлек и жвачек всегда полно в их карманах, вели они себя не как дети торговых родителей, а скорее интеллигентов — акционеров каких ни то или еще кого в том же роде. Во всяком случае, они предпочитали не говорить о родительских делах и магазинных заботах, потому что уже давненько, после шумного объяснения с родителями, полностью освободились от торговых забот под залог хорошей учебы и непрямого будущего попадания хоть в какой институт. А на не попавшего в этот самый институт, хотя бы и с третьего раза, должно было лечь родительское хозяйство, и это означало бесконечные, с утра до ночи, хлопоты, погрузки и разгрузки, касса, деньги, налоги и все прочие, вовсе даже непростые заботы.

Глебка сидел на бревнышках сбоку, молчаливый, задумчивый, Бориска же, напротив, оказался в центре горевской стайки, отмахивался от предложения троицы не чекушкой отметить его отъезд, а посолиднее, да хоть бы и фуфырём дорогого виски, вежливо разясняя, что стрелки никогда не пьют, а то руки у них затрясутся, и все на это не смехом отзывались, но робким смешком уважительности, понимания и признания Борькиных достижений.

— А помните, мужики, — совсем по-взрослому проговорил Витька, — ведь Борик звал нас всех в этот его тир! Но никто не сподобился. Холодно нам показалось. Неуютно.

— Терпения не хватило, вот что, — всерьез добавил средний из братьев, Федя.

— А и правда, — восхитился Аксель, — сколько ж ты на полу там пролежал, в мишени целясь? Часов? Дней?

— Тыщу! — усмехаясь, ответил Бориска.

— Вот-вот! — опять врезался Головастик. — Тыщу, и — на тебе! — всяческий чемпион, но главное, едешь-то куда, в армию, в десант!

Он и не старался скрыть своей зависти, этот Витька, друг детства, одноклассник, а может, даже родственник. У самого-то ничего не получилось, добрался до конца школы ни шатко, ни валко, и оставалось у него последнее лето — осенью предстоял призыв. Армия — вроде всё как у Бориса, да совсем не всё — будут у них на плечах разные погоны: у Витьки просто солдатские, а у Бориса — с широким рантом вдоль них да буквой “К”, курсант, значит. И хотя курсант, особенно младших курсов, тот же солдат, а может, даже солдат еще больше подчиненный, все же от солдата отличается в принципе — он скорый офицер и в сравнении с простым солдатом сразу — элита.

Так и сидели они на куче пересохших бревнышек — птенцы подросшие, оперившиеся (кроме Глебки, конечно), пора уж слетать с этих бревнышек, из своего горевского гнезда, так что они — слётки.

Кто из них раньше встанет на крыло?

Аксель вроде уже встал — в армию его не возьмут, пока по крайней мере отложили, уж больно длинен и худ, и что-то в нем за чем-то не поспевает, так что ему пыхтеть на заводике, да и слава Богу, ясно, что остается дома, и родители тому рады.

У братьев-погодков все начнется еще не скоро, и все — посыплется как горох, одним за другим, и все в институты. Да выдержат ли? Туда ли попадут? Найдут ли себя во взрослой жизни? Головастику же все ясно — осень, а там куда судьба направит, или в какую тихую солдатскую дыру, это бы лучше всего, или на непонятный Кавказ — и что там ждет, одному Богу известно.

Вот и выходит, один только Борис встал на край гнезда своего уверенно, завтра широко расправит крылья, взмахнет ими и полетит. Куда — ему и самому не очень понятно, но приятно, потому что он твердо знает — его ждут, уже позвали, выдав в новый путь казенную бумагу: только лети.

А все равно — слёток.

3

Стал Глебка свидетелем и еще одного прощания брата — с Хаджановым. Удивительное дело, что человек этот пришлый, совсем с другими правилами житья, оказался вдруг почти как отцом. Да что там — он превосходил многих из отцов, которых знали братья, и дело вовсе даже не в том, что отцы те, едва ли не все подряд, были людьми сурово пьющими, и все заключалось только в мере этой суровости — до полного бессознания, изо дня в день, или же все-таки хоть с малыми, но просветами в бурном своем уничтожении всяческого пойла, — а в том, что беспробудное пьянство убивало в этих мужчинах, может, главный их человеческий признак — отцовство.

Семьи с пьянствующими отцами существовали кое-как — с криком, гамом, драками, плачем, и, подрастая, Борис и Глеб не раз чувствовали свое преимущество, ведь в их семейной телеге мужика не было! Без отца, получалось, жили они понятнее и яснее, и не нужно им было такого, каких вокруг полно: ползают по земле, орут, матюгаются на чем свет стоит, бегают с батогами за собственными детками да женами — хозяйева, называется, мужики, кормильцы!

Михаил Гордеевич был решительно другим. Никогда не пьющим. Переполненным делами. Доброжелательным ко всем. У родных отцов к кровным сыновьям интереса нет, а он с Борисом возится почище ста таких отцов!

Ведь если подумать, он Борика и сделал человеком. Еще до окончания школы. Старался для чего-то изо всех сил, учил. Потом потащил на соревнования. А винтовку заграничного производства достать — это же не фунт изюму!

И вот они пришли в тир вдвоем — старший и младший. Пришли попрощаться, завтра Борис убывал. Не в каком-то неизвестном направлении, а со всеми и всякими гарантиями, будто швейцарские часы. Адрес училища, направление облвоенкома, чемпионские грамоты, свернутые в рулон и обтянутые тонкой резинкой. Все. Он пришел пожать руку учителю — почище отца! Сказать спасибо. Обняться на прощание. И на прощанье же сделать десять выстрелов из шмайсера, “скрипочки Страдивари”, как говорил Хаджанов, чудесный майор, добрая душа. Ведь он за все это время ни разу даже голоса не повысил на Бориса, не говоря уж о маленьком Глебке. Что за человек! Да таких мужчин сейчас не бывает.

Хаджанов сидел в своем кабинетике, при появлении ребят встал. Но вперед не шагнул. Глядел на Борю непривычно строго, не улыбаясь. Потом протянул ему металлическую сверкающую штучку — мобильный телефон. Сказал:

— Вот тебе мой подарок! Не забывай! Звони!

А дальше вообще чудо совершилось. Майор повернулся чуть вбок, к Глебке, и протянул ему точно такой же телефон:

— И ты возьми, младший брат! Перезванивайтесь! Друг друга не забывайте! Понимаете?

Они стояли обмершие, оба не в силах найти слова благодарности, а Хаджанов помолчал и сказал не очень понятно:

— У вас тут с народом что-то происходит. Забываете все. А забывать нельзя. Ни мать, ни отца, ни брата, ни сестру. У нас, у горцев, это священный закон. Почему же русские его позабыли?

4

А потом был вокзал. Мама и бабушка, — каждая то засмеется, то заплачет, — пятеро горевских дружбанов, на лицах которых улыбки сменяют-

ся растерянными гримасами, и Глебка, который не смеется и не плачет — он все выплакал тогда, только узнавши про Борин выбор.

Был он сух как вобла, что ли — все в нем сжалось, ссохлось уже давно и не осталось хотя бы капельки влаги на вокзальное прощание.

Случилась на вокзале и маленькая досада — в тот же, что и Боря, вагон села та длинная по кличке Дылда; оказалось, она тоже куда-то ехала. Глебка, знавший ее с младенческой, можно сказать, поры, поёжился, даже по-стариковски головой покачал, считая ее появление если и не приметой, то каким-никаким неудобством, но Боря... Боря-то его как раз и удивил. Он отчего-то зарделся, вежливо с Дылдой поздоровался, может, повлияло, что она теперь в библиотеке работает, и та доброжелательно кивнула в ответ. Но рассуждать особо было некогда, скоро все заколготились, парни стали Борю обнимать, жать ему руку, даже мама с бабушкой едва успели его расцеловать, а Глебка так просто замирал от страха до самой последней минуты прощания, ожидая, когда же брат обнимет его.

Они так и не сказали друг другу чего-то важного, что обязательно говорят братья при расставании. Вагон медленно поплыл перед ними, и Глеб сначала пошел, а потом побежал. Борис улыбался над плечом пожилой проводницы и торопливо говорил, будто спохватился, что не сказал этого раньше:

— Глебка, не горюй! Я тебе писать стану! Учись! Ходи к Гордеевичу, он поможет! Маму береги, слышишь! И бабушку!

Ничего старался не забыть, будто прощался навсегда!

И Глебка снова зарыдал.

Опять из нутра его вырвался какой-то отчаянный вопль. Даже пожилая проводница, видевшая, наверное, на своем веку не одно прощание, похоже, поразилась и крикнула Глебке:

— Что ты, мальчик! Не плачь! Все будет хорошо!

Он сначала шел, потом легонько побежал, а когда вагон набрал скорость, изо всех сил помчался рядом и отчаянно кричал на ходу что-то бессмысленное и пустое.

И вот прибежал: край платформы, огражденный барьером, обрыв метра в полтора высотой, за краем ползут, переплетаются рельсы, сходятся в один путь. Куда он ведет?

Глебушка глядел туда с немим вопросом, с отчаянием, с тяжким предчувствием, и боялся обернуться, чтобы там, за спиной, не увидать самое страшное: свое одиночество.

5

Отъезд Бориса переменял Глебку до самого основания.

Он притих, стал неразговорчив. Даже в школе вел себя странно — не дурил на переменах, не толкался, не бегал сломя голову, не кричал глупые детские слова, как остальные.

Он избегал споров, хотя все слышал, имел свое мнение, правое или не правое — другой вопрос, но держал его при себе, никому не высказывал, никого не поддерживал.

Учился ровно, не любя ни один предмет и ничем не вдохновляясь, однако, не в пример окружению, много читал, так что ему пришлось записаться в библиотеку.

Правда, это была пока еще не та библиотека, для взрослых, где работала дылда Марина, а детская, и Глебка совсем скоро и для себя неожиданно стал любимцем тамошних разновозрастных женщин. Одним, тем, что постарше, он нравился просто постоянством, верностью книгам, жадным желанием проглотить все подряд — и классику, и цветные журналы, и даже немногие детские газеты, а тем, что помоложе, — интересом ко всему новому. Одну за другой проглатывал он книги о природе, даже новое издание рассказов по истории Древней Греции осилил. Позже, подрастая, он не изменил библиотеке, жадно читал про компьютеры, осваивая их сперва теоретически. Но когда библиотека получила четыре компьютера и организовала кружок для верных своих друзей, Глебка оказался самым первым и вне всякой конкуренции.

Это было уже позже, в пятом классе. Пока же он был еще мал, и, наверное, это объясняло, что к Хаджанову он заходил лишь изредка, — или стесняясь появляться тут без брата, или на что-то обидевшись, или чего-то испугавшись. Спроси его об этом, Глебка растерялся бы — смутное, непонятное неудовольствие свое он и сам себе объяснить не мог: ну не было у него причин ни обижаться, ни, тем более, пугаться Михаила Гордеевича! Ведь благодаря ему он сам отлично, не по возрасту, владел мелкашкой, много раз стрелял, и хотя не обладал Бориным терпением, но навык-то имел, и захоти только, мог бы в будущем и повторить путь в мастера спорта и в десантное училище. И все-таки...

Встречая Глебку на улице или увидев его на пороге тира в редкие его визиты вежливости, Михаил Гордеевич опять белозубо улыбался, широко раскидывал руки, готовый принять в объятия младшего брата своего выученика, но тот к учителю не бросался. Как-то умело и по-взрослому смиренно опускал голову, лишь прикасаясь к руке учителя слабыми и тонкими своими пальчиками, а разговаривая, все чаще отводил от Хаджанова глаза.

И это майора удручало. Он чаще всего повторял, что “Страдивари” в простое, что великий шмайсер ждет своего нового слугу и хозяина, и очень жаль, что Глебушка, младший брат чемпиона, не хочет повторить его славный путь.

Глебушка взор свой опускал, уши у него краснели. Да, он желал бы повторить Бориса, разве плохо стать чемпионом? Он соглашался с учителем, что заблуждается, не ценит предоставляемой возможности, упускает удачу. Обещал на той же неделе прийти и — не приходил.

6

Он вернулся в тир бедным оруженосцем всадника на белом коне. Через несколько месяцев, зимой, приехал в свой первый зимний отпуск Борис, и первое, что пожелал после праздничного обеда, — пойти в тир к Хаджанову.

Глебка это понимал, не противился. Борис надраил ботинки, застегнул китель на все пуговицы, шинель, и они двинулись по улице. Поравнявшись с входом в старый парк, где перекрикивались вороны, Боря смешливо глянул на братца и, словно в детстве, взял его за руку. Наконец-то они облегченно засмеялись, и Глебке показалось на минуту, что встретились они с братом только сейчас, когда Борис так знакомо улыбнулся ему и совсем как раньше взял его за руку.

Правда, прошли они так недолго, всего несколько шагов — ведь город глядел на братьев во все глаза, прохожие оборачивались — не мог не привлекать их взгляд молодой человек в погонах, для городка этого вовсе непривычных, с большой таинственной буквой “К” посредине.

Переменился ли Борис? Совершенно! Рядом с Глебкой широко шагал молодой, уверенный в себе человек, на лице его блуждала легкая улыбка. Он “оторвался от ветки родимой” — вдруг пришли Глебу на ум лермонтовские стихи, которые он вычитал в библиотеке. Оторвался, но ему не страшно — он летит и уверен, что летит правильно.

Хаджанов был на месте, и восторгу его не было конца. Чего он только не налопотал, лучезарно улыбаясь! И что это — лучший день его жизни, и что он испытывает к Боре такие же чувства, как к кровному сыну, и что Боря в грядущем — он, Михаил Гордеевич, это чувствует всем сердцем — прославит своей службой и подвигами родной город Краснополянск, а уж тир, теперь юношескую спортивную школу, прославит в веках. Борис смеялся, перебивал старшего, они совсем не замечали Глеба, который, впрочем, совершенно против этого не возражал. Ему хватало того, что он купался в лучах братовой славы — ведь на него во все свои карие шары пялились черноволосые мальчишки, пришедшие на тренировку. На Бориса пялились и на него! Получалось, Бориного жара хватало на двоих, никак не меньше!

Когда Борис с Хаджановым вдоволь нахлопали друг друга по спинам и плечам, тренер новых учеников распустил, и втроем они уселись за чай. Чай у Гордеевича был разный, но сам он предпочитал черный, байховый. Глебка

все хотел узнать, почему он так называется. Они принялись прихлебывать его из забавных стаканчиков, округлых, с широким горлышком, которое оканчивалось широкой же и загнутой манжеткой.

Майор спрашивал, курсант отвечал, Глебка слушал, и здесь выяснилось: еще до присяги Борик совершил четыре парашютных прыжка, один из них был ночной, изучает технические основы десантирования, конечно же, научился укладывать парашют, штудирует и многое другое, без чего в армии не прожить, — уставы разные, тактику, ну и всякое оружие, не считая, конечно же, общеобразовательных предметов, например, той же истории.

Что же касается лично Бориса и его стрельбы, то тут дело швах. Из мелкокалиберки в училище не стреляют. Культивируются автомат и пистолет, боевые, конечно. Так что речь идет о выработке навыков, умения, привычности, что ли. Среди курсантов все больше говорят про АКМ, автомат Калашникова, его различные модификации, ведь десантника мелкокалиберное оружие не спасет — вся тактика боя с десантированием основана на автомате да на гранатомете. Боря при этом не огорчался, не кручинился, ни о чем не сожалел — просто выкладывал все как есть.

— И такого оружия, как ваш “шмайсер”, там, Михаил Гордеевич, нет! — сказал Борис, ставя точку.

Майор вздохнул, удалился за свою знаменитую занавесочку, дальше которой никто, кроме него, не ступал, вынес “страдивари” — чистенькую, сияющую масляным цветом, протянул:

— Хочешь, постреляй!

И где-то с час они палили. Сначала Борис, стрелявший малый стандарт, а потом и Глебка. Старший брат запросто повторил мастерский норматив, а Глебка лупил даже в молоко, и выходило, что он не просто подтверждал свое неумение, но будто бы и вообще отказывался от этого спорта.

Это все придет ему в голову гораздо позже, а тогда он глупо мазал, глупо улыбался своим промахам, и даже спрашивал себя: зачем жжешь патроны, они ведь недешево обходятся майору Хаджанову! А тебе все эти стрельбы совсем не понадобятся! Не могут два брата делать одно и то же — стрелять!

Стрелять — это не из жизни, а из спорта, а в жизни если где и стреляют, так только на войне.

7

После тира они пошли домой, но Глеб почувствовал, что Борис ведет себя как-то нервно: поглядывает на него, ускоряет шаг, потом останавливается, задумавшись, точно что-то забыл, но где — в санатории? Или — вообще?

Когда они поравнялись со взрослой библиотекой, Борис, отвернувшись, сказал Глебу, чтобы тот шел домой, а он заглянет сюда. Все в Глебке оборвалось: вот оно что! Верно, ведь когда старший брат уезжал в училище, Дылда садилась в тот же вагон. Но мало ли... Оказалось — достаточно.

Глеб оглядывал своего брата, слегка удивляясь: выше среднего роста худощавый красивый курсант, без скольких-то там кратких лет офицер, и — вот! Да за ним эти девицы — одна другой краше — табуном ходить должны, а он к какой-то там Дылде собрался, старше его, пусть даже библиотекарша теперь. Но они-то, оба причем, знавали ее вульгарной школяркой, предводилой с пивной бутылкой в руке.

Все это вертелось в голове и на языке Глебки, и во взоре его удивленном увиделось бы внимательному глазу, но взгляд Бориса не то что невнимательным был, он бродил где-то в стороне — по кронам дерев, по кустам и невзрачным городским строениям: устремления их расходились в разные стороны.

Глебка кивнул и пошел домой, не оборачиваясь. Сперва он просто шел, тяготясь своими мыслями, потом вздохнул, отпустив заранее все Борькины грехи, даже если они и были, — ведь взрослый же он человек, в погонах, мастер спорта, самостоятельная, взрослая личность — какое он, младший, имеет право на его, старшего брата, решения?

Да и вообще — в чем дело, Глебушка? Живи сам!

Он побежал. Ветер летел ему навстречу, что-то уж слишком острый и крешкий, просто слезы выбивал из глаз! К чему бы это? К непогоде, к снегопаду? Или даже к буре?

Глебка, пока к дому бежал, ясный для себя вывод сделал: Борис имеет все права, и он ему ничего про Дылду не скажет. Все!

Но когда встретил их и раз, и два, по городским улицам прогуливающимся, поразился все же неверности старшего: приехал на несколько буквально дней, и все с ней да с ней, вместо того чтобы с братом время провести, поговорить всерьез или хотя бы с горевской командой снова сойтись — разве мало вещей, которые обсудить следует во всяких важных подробностях? Да и вообще! Разве мало в городе других девчонок — в тыщу раз симпатичней, чем эта?

Брат вообще странно жил в те первые свои каникулы, по-военному — отпуске. Не ходил в тир, не валялся дома, не торопился встретиться с горевскими, даже Глебки избегал. Вставал поутру, одевался в гражданское и исчезал. Глебушка, стыдясь самого себя, даже пару раз в библиотеку днем заикался — но Дылда была на месте, о Борисе ничего не знала.

Однажды Глебка увидел его выходящим из автобуса, который ходил в областной центр. Борис не смутился, обнял брата и сказал ему, что ездил по делам, встречался со старым полковником Павлом Николаевичем Скворушкиным, обедал с ним в ресторане и беседовал о жизни.

О жизни? Глебка тогда втайне удивился: чего о ней беседовать, и так все ясно — живем себе да живем! Учись, потом работай, вырастай, наверное, женись как все! Однако Борис вздыхал, крутил головой, о чем-то своем раздумывал, затем словно стряхивал с себя незримый груз, смеялся, плечи расправлял, спрашивал Глебку о чем-то, но эти расспросы были какие-то пустые, неискренние, слова, сказанные всуе, а не от сердца, и через разок другой Глеб научился пропускать их мимо души, давая на пустые вопросы пустые же и ответы.

Что-то остывало между ними. Будто остывают угли в отгорающем костре. И все объяснялось-то очень просто — Борис стал взрослым, а Глебка еще бултыхался в чувствительном детстве.

Борис, будто оправдываясь перед братом, как-то сказал Глебу:

— Понимаешь! Я просто хочу побалдеть! Помнишь, в школе я стрелял и стрелял. Из тира не вылезал. В училище все по команде: просыпаться, обедать, спать! Даже по надобности, и то по команде. А как стану офицером, совсем свободу потеряю! Другими командовать придется, куда уж там? Так что, может, для меня все эти отпуска — последняя воля. Лето последней свободы! Я еще никто, я еще принадлежу себе сам, хотя бы сейчас! Дай я погуляю!

Это он говорил, пока они от остановки к дому шли. И эта просьба старшего брата к младшему Глебку просто подлюмила. Он, конечно, не заплакал, хотя едва удержался. Он схватил Борика за руку, невольно прижался к нему и неожиданно тихонько заскулил.

Вырвался из него этакий сдавленный звук, сразу выражавший и счастье, и горе.

8

В тот первый Борин приезд произошло одно маленькое, почти незамеченное событие. Впрочем, его и событием-то назвать трудно, потому что всего-навсего привезла бабушка из большого города каждому из братьев по яркой цветастой книжечке, которая называлась “Святые Борис и Глеб”.

Бабушка вообще-то давно просила маму съездить с ней в областной центр, в церковь, потому что в Краснополянке церкви никогда не было, ведь этот городок построили во времена безбожники. Так что народ пожилой и верующий ездил по церковным праздникам в город главный, большой, где и храмы имелись, когда-то обносившиеся и обветшавшие, а теперь вновь воспрямленные и благолепные, и колокольным звоном, и стремлением народным под купола их.

Бабушка выбиралась туда редко-редко, бывало, и не всякий год, а тут, раз Борик вернулся домой, пусть только на время отпуска, но в полном своем благополучии, уговорила Елена Макаровна дочь свою сесть в автобус, отпросившись с работы, и на полдня оставить дом на попечение внуков.

Вернулась бабушка с лицом просветленным, едва переступив порог, объявила, что были они с мамой в храме Бориса и Глеба — Борисоглебским называемом — и молились, она за внуков, мать за сыновей. И вручила эти две книжечки.

Борис, конечно, тут же унесся, слегка женщин поблагодарив, а Глебка уселся за стол и минут за двадцать книжечку одолел, спросив себя про себя: “Ну и что?”

История выглядела если не сказкой, то былинной, хотя в ней указывались конкретные исторические даты, да и персонажи ведь не были выдуманы.

Ему хотелось с бабушкой поговорить, но она с мамой хлопотала на кухне, — а разве в суете поговоришь о древней истории? Глеб вышел на улицу. Ноги отчего-то понесли его в рощу, на поляну, где когда-то мычала день и ночь недоеная корова Машка. И коровы давно нет, и старушки нет, и домика голубого приветливого тоже нет — здесь теперь аж трехэтажный, внешне совсем неуютный какой-то, дом не дом, дворец не дворец, — скорее, общежитие, где обретается орава кареглазых черноволосых мальчишек, прищипцов, родственников Хаджанова, во главе, конечно, со взрослыми, которые однажды, когда им деться некуда было, ночевали у них во дворе. Теперь эти взрослые люди даже с Глебкой здоровались первыми.

Время от времени мама и бабушка ходили на рынок, и вот, вернувшись, то та, то другая говорили, что какой-то чернявый мужчина, а потом и черноволосая женщина, со ртом, полным золотых зубов, но не цыганка, вдруг скидывали для них цену на овощи, а то даже и на мясо, на рыбу — без всяких объяснений. Однако все попытки других женщин купить что-либо по такой же цене тут же отвергались. Черноволосые свои улыбки прятали, качали головой, говорили что-то непонятное на своем языке и тут же повторяли на ломаном русском:

— Эта только има!

Ни мама, ни бабушка не требовали объяснений, не старались выяснить причину, а в домашних беседах приходили к выводу, что это все заботы майора, который обладал самым неоспоримым влиянием на своих земляков. Ведь он не только оказался первым в этом хиреющем городке, но и устраивал на постоянное жительство все новые группы приезжающих.

Местный народ причитал, почему-то боялся и сторонился чернявых людей, может быть, потому, что те как-то быстро, точно по мановению волшебной палочки, вдруг оказались в большинстве на рынке и не сразу, но постепенно подняли цены, хотя они же и превратили этот захолустный базар чуть ли не в ежедневную праздничную ярмарку. Во множестве ларьков, лавочек, палаток на прилавках возлежали ныне не только жалкие пучки редиски, выращенной на здешних скудных огородах, — продавались невиданные раньше заморские фрукты, а главное, на всяческий вкус одежда, обувь, всякая косметика для женщин и разнообразное, с иностранными наклейками, пойло для мужчин. Частенько поговаривали, правда, что все это подделка, но кто станет все это подделывать и где — было неясно. Так что разговоры крутились, мутились, как воронки в несвежей, но глубокой речке. Черноголовые граждане и гражданки были покладисты, в меру вежливы, и при полном непротивлении местного люда рынок захватили в прямом и переносном смысле слова.

И зажили они повсюду, тихо, постепенно скупая домики и домишки, сносили их и быстро сооружали новое жилье, и не сильно вроде бы отличное от местного, а все же было в этих постройках что-то не здешнее, чужое...

Глебка смело прошел на заснеженную поляну, по краям которой уже врыты были новые столбы для забора, — видать, новые хозяева расширяли свои владения, — и зачем-то именно здесь, под березками остановился, рассчитывая, видимо, задуматься над историей Бориса и Глеба, поразмышлять, почему же этих братьев нарекли первыми святыми русской церкви и зачем они — и тот, и другой — погибли без всякого сопротивления?

Ведь как было?

Правил тогда Русью ее креститель Владимир Красное Солнышко. И было у него несколько сынов. Любимый и самый надежный — Борис. Самый маленький, еще дитя, вернее, подросток — муромский Глеб, тоже, ясное дело, князь. А был у знаменитого князя еще и старший сын с именем-то прекрасным — Святополк, а с душой мохнатой и черной от коварства.

Стал стар и немощен князь Владимир, а в это время печенеги пошли валом на русские княжества, и послал он тогда надежу своего князя Бориса против врага. Принял решение старый отец: как только Борис воротится, передать ему княжение в Киеве.

Печенеги разбежались, узнав, что на них идет войско Борисово, и он домой стал возвращаться. На ночь разбил шатер, а перед тем войско свое распустил: был он в горе-горьком, ведь получил известие, что отец не дождался его и отдал душу Богу.

Ближние его соратники тщетно уговаривали идти прямо на Киев и брать власть, но он не согласился, утверждая, что власть эта по праву принадлежит старшему из братьев — человеку с мохнатой душой и с ложно достойным именем Святополк. В ту же ночь Святополковы убийцы ворвались в шатер Борисов, который в тот миг молился, и убили его. Уже израненный весь, Борис успел прошептать:

— Господи, не вмени им во грех!

Самый младший, Глеб, княжил во городе да в Муроме. Святополк, хотя отец уже умер и похоронен был, послал младшему братцу ложное известие о болезни князя Владимира. Глеб снарядил ладьи и кинулся по рекам в Киев.

И вновь, как Бориса, упредили Глеба добрые духи: Святополк его убить намеревается, а Бориса уже и убил.

Не поверил мальчик Глеб в такое бессмысленное коварство — да не кого-нибудь, а брата братом, продолжил путь свой в Киев, а навстречу ему — струг с дружинниками Святополка. Только когда воины со струга спрыгнули в Глебову ладью и мечи свои над ним занесли, понял он, что предупреждения, ему, духами посланные, были не напрасны, что Святополк затеял невиданное преступление.

Впрочем, убили его не вражьи дружинники, а предатель повар, который, выслужиться желая, полоснул мальчика-князя по горлу кухонным ножом. И тело его бросили в кусты прибрежные, даже в землю не закопав.

Был еще один брат в этом семействе — Ярослав. И его хотел погубить Святополк, но Ярослав собрал крепкое войско. И была битва, а шатер свой Ярослав поставил в том же месте, где был шатер Борисов. И была битва войск братских за справедливость во имя братьев, братом же погубленных. Когда Ярославовы бойцы победили вчистую, Святополк бежал, но брат-победитель велел не гнаться за ним, сказав:

— Господь Сам свершит над ним суд Свой.

Тот скитался по разным землям, но молва о братоубийстве опережала его, и был он презираем всеми. Так и сгинул на чужбине, а в землю закопан без отпевания.

Борис же и Глеб прославлены как Святые второго мая 1072 года, так что это никакая не сказка, а самая что ни на есть правда.

А еще есть история отыскания тела Глебова. По слову Ярослава, стали разыскивать его по всему пути. Долго искали. Но вот ночью увидели: над непроходимым лесом столб света стоит. Двинулись туда, с трудами через препятствия пробрались и увидели на поляне нетленное, не тронутое ни смертью, ни зверями тело невинно убиенного князя-мальчика.

И есть у братьев еще одно имя — Страстотерпы.

Терпели, выходит, страсть, и не какую-нибудь чужую, постороннюю, а от кровного старшего брата своего, до последнего мига веруя в невозможность братоубийства лишь во имя власти одной.

Все это представлял себе Глебка, стоя на взгорке заснеженном, под двумя сросшимися березами, как вдруг обмер.

Откуда-то возникли перед ним четыре разнокалиберных мальчика с угольными глазами, глядели на него не враждебно, а пусто — будто бы он тут был, но как бы и не было его. И один, постарше, сказал вполне вежливо:

— Уходи, пожалуйста! Это наша земля!

— Нет, — не сразу сообразил Глебка, — это наша земля!

И улыбнулся, глупенький. Черноволосый мальчик несколько не смутился.

— Мы знаем, — сказал он, — что твоя земля вон там, — и указал на крышу Глебкиного дома.

Глеб посмотрел туда, куда он показывал.

За крышами маленьких избушек виднелась знакомая кровля родного дома, и он прекрасно знал это, но ведь — посмотрел.

Что-то ложилось ему на плечи, какая-то темная тяжесть. Он хотел возразить, но не знал, какие должен произнести слова. В общем-то их не было.

Он поднялся и пошел.

Только не к дому, а в обратную сторону, на опушку березовой рощи, где когда-то они с Борей похоронили соловья.

(Продолжение следует)